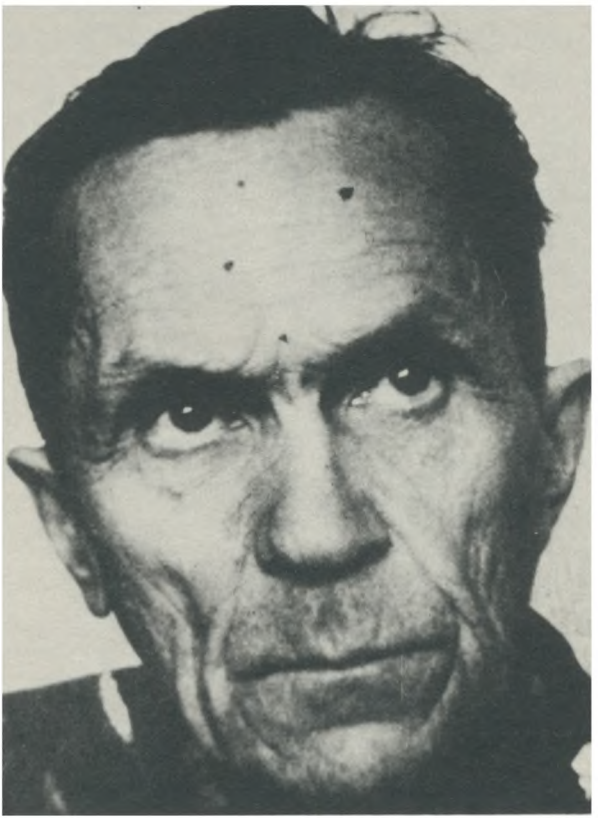
Варлам Шаламов

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ



1968

Варлам Шаламов

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

Предисловие М. Геллера

YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 75005 Paris
1985

Того же автора:

Колымские рассказы, третье издание, 1985.
Избранные стихи (готовится к печати).

ISBN 2-85065-071-4
© 1985 by YMCA-PRESS

ВТОРАЯ КНИГА

Я ветку стланика с собою
Привез сюда,
Чтоб управлять своей судьбою
Из царства льда.

Варлам Шаламов

Книга "Колымских рассказов" дошла к автору накануне смерти. Он успел подержать ее в руках. После смерти писателя его друзья начали присылать – разрозненными листками – рукописи рассказов, стихов, воспоминаний. Вторая книга Варлама Шаламова – дань друзей: без них она не смогла бы появиться.

Воскрешение лиственницы составлено из разнородных текстов – автобиографии, биографической повести, лагерных рассказов. Объединяет их, сливает в целость, сюжет – судьба человека, судьба автора. Все писатели – в той или иной степени – используют свой жизненный опыт в книгах, которые сочиняют. Варлам Шаламов превратил в литературу свою жизнь. Для него нет раздела между жанрами: стихи, проза, автобиография – Шаламов пишет о себе, о своих чувствах, своих страданиях, своей борьбе. Обнаженная до предела искренность, исповедальность – особенность шаламовского творчества, неотделимое от таланта качество.

Во второй книге это свойство прозы Шаламова проявляется с особой очевидностью. *Воскрешение лиственницы* открывается "Кратким жизнеописанием Варлама Шаламова", автобиографией, которую писатель не успел закончить.

Рукопись – трагическое свидетельство: силы уходят, почерк становится все неразборчивее, карандаш выпадает из рук. "Четвертая Вологда" – биографическая повесть, детство и юность будущего автора "Колымских рассказов". В русской литературе мало книг, в которых с подобной силой и откровенностью созревание юноши было бы изображено как противоборство между сыном и отцом. Вспоминая события полувековой давности, писатель сохранил поразительную живость памяти: старая боль ощущается, как вчера нанесенная рана. Боль, любовь, ненависть – создают особую напряженность рассказа о созревании бунтаря. Детство и юность Шаламова – бунт против отцовского авторитета, который перерастает, быть может и потому, что отец был священником, в – бунт против Бога. Мальчик, потом юноша растет в непрекращающейся борьбе за человеческое достоинство, за право быть собой, за независимость и свободу духа.

Варлам Шаламов растет в русской провинции, в городе ссыльных, где ожидание перемен носится в воздухе. Он видит приход революции, опьянение ею и отрезвление. Он становится свидетелем гибели надежд, города, людей. Трагична судьба его семьи. Сын священника, он становится изгоем – с великим трудом удастся ему продолжить образование в Москве.

В "Кратком жизнеописании Варлама Шаламова" писатель успел рассказать о причинах первого ареста: не будучи членом партии, он примкнул к оппозиции, ибо оппозиционеры "были единственные в России люди, которые пытались организовать активное сопротивление этому носорогу", как он называет Сталина.

Тюрьма, лагерь – неизбежно ждали Шаламова. Бунтарям не было места в стране, в которой в октябре 1917 г. произошла "последняя революция", как говорит в романе "Мы" Замятин. Впервые Варлам Шаламов попадает в лагерь в 1929 г. – в это время начинается решающий этап "перебирания

людишек", просеивание народа, с целью отделить послушных от непослушных (или потенциально непослушных).

В годы "оттепели" будут говорить о сталинском времени, как о лотерее, в которой – по воле случая – можно было проиграть или выиграть жизнь. Хрущев вспоминал: "Я вытащил счастливый лотерейный билет". У Шаламова был беспроигрышный билет: отсидев первый срок в первом советском концлагере СЛОН (Соловецкие лагеря особого назначения), он, после короткого перерыва, снова в лагере. На этот раз в приговоре специально указывается – "с отбыванием срока на Колыме".

Шаламов не различал своих рассказов в зависимости от лагеря, в котором происходит действие, – СЛОН или Колыма. В плане книги "Колымские рассказы", которую писатель составил в 60-е годы в надежде на публикацию,* Магадан и Вишера – соседи. Лагерь – место, где человек подвергается испытанию. Из лагеря в лагерь, опускаясь по ступеням ада, выдержать пробу становится все труднее и труднее. Испытав все круги, писатель знает, что наступает предел, когда человек не выдерживает, ломается, сдается. Зная это, Шаламов настаивает на необходимости и возможности держаться и тогда, когда, казалось бы, исчерпаны все силы. Он верит в то, что на самом дне человеческой души можно найти последним усилием воли жажду свободы, стремление к бунту.

Первый из 12 лагерных рассказов, вошедших в *Воскрешение лиственницы*, называется "У стремени". Так, очень сжато, можно определить нравственный (но также психический и физический) конфликт, представленный Варламом Шаламовым в его лагерной книге, во всем его творчестве: быть рабом, стоять "у стремени" – или быть свободным. Осип Мандельштам в 1931 г., когда Шаламов выходил "из маленькой командировки в большую", писал:

---

*) Этот план был использован в изданной книге.

К "Краткому жизнеописанию..."

Варлам Шаламов работал над биографией до конца жизни – возможно, это последний текст, написанный его рукой. Он не успел закончить "Краткое жизнеописание", дойдя лишь до 1945 г. Предсмертная биография была очень сжатым изложением того, о чем было рассказано в "Колымских рассказах". Коротенькая фраза: "Чтение по гаранинским спискам" возвращает нас к рассказу "Как это началось": "Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз заключенные музыканты – из "бытовиков" – играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензинные факелы не разрывали тьму, привлекая сотни глаз к заиндевелым листочкам тонкой бумаги, на которых были отпечатаны такие страшные слова... Каждый список кончался одинаково: "Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин". О том, как спас его следователь Скановский, Шаламов рассказал в "Заговоре юристов" – следователь назван "капитан Ребров", а заключенный – "Крист". В нескольких рассказах вспоминаются доносчики – И. Заславский и М. Кривицкий.

"Заговор юристов" заканчивается словами: "Почерк Криста был спасительным, каллиграфическим". Когда Шаламов писал "Краткое жизнеописание" – почерк становится все труднее разборчивым. Некоторые слова остались в рукописи непрочитанными.

В ЛАГЕРЕ

У СТРЕМЕНИ

Человек был стар, длиннорук, силен. В молодости он пережил травму душевную, был осужден как вредитель на десять лет, и был привезен на Северный Урал на строительство Вишерского бумажного комбината. Здесь оказалось, что страна нуждается в его инженерных знаниях – его послали не землю копать, а руководить строительством. Он руководил одним из трех участков строительства – наравне с другими арестантами-инженерами – Мордухай-Болтовским и Будзко. Петр Петрович Будзко не был вредителем. Это был пьяница, осужденный по 109 статье. Но для начальства "бытовик" был еще удобней, а для товарищей Будзко выглядел как заправская пятьдесят восемь, пункт семь. Инженер хотел попасть на Колыму. Берзин, директор Вишхимза сдавал дела, уезжал на золото и набирал "своих". На Колыме же ожидались кисельные берега и чуть не немедленно досрочное освобождение. Покровский подавал заявление, и не понимал, почему Будзко берут, а его нет, и мучась в неизвестности, решил добиться приема у самого Берзина.

Через тридцать пять лет я записал рассказ Покровского.

Этот рассказ, этот тон, Покровский пронес через всю свою жизнь большого русского инженера.

– Наш начальник был большой демократ.

– Демократ?

– Да, знаете, как трудно попасть к большому начальнику. Директору треста, секретарю обкома? Записи у секретаря. Зачем? Почему? Куда? Кто ты таков?

А тут ты бесправый человек, арестант, и вдруг так просто видеть такое высокое да еще военное начальство. Да еще с такой биографией – дело Локкарта, работа с Дзержинским. Чудеса.

– К генерал-губернатору?

– Вот именно. Могу вам сказать не таясь, не стыдясь – я сам кое-что сделал для России. И в своем деле я известен по всему миру, думаю. Моя специальность – водоснабжение. Фамилия – Покровский, слышали?

– Нет, не слыхал.

– Ну, можно только смеяться. Чеховский сюжет – или, как теперь говорят – модель. Чеховская модель из рассказа "Пассажир первого класса". Ну, забудем, кто вы и кто я. Начал я свою инженерскую карьеру с ареста, с тюрьмы, с обвинения и приговора на десять лет лагеря за вредительство.

Я проходил по второй полосе вредительских процессов – первую – шахтинцев – мы еще клеймили, осуждали. Нам досталась вторая очередь – тридцатый год. В лагеря я попал весной тридцать первого года. Что такое шахтинцы? Чепуха. Отработка эталонов, подготовка населения и кадров своих к кое-каким новинкам, которые стали ясны в тридцать седьмом. Но тогда, в тридцатом году, десять лет был срок оглушительный. Срок – за что? Бесправие оглушительно. Вот я уже на Вишере, строю что-то, возвожу. И могу попасть на прием к самому главному начальнику.

У Берзина не было приемных дней. Каждый день ему подавали лошадь к конторе – обычно верховую, а иногда коляску. И пока начальник садился в седло – принимал любых посетителей из заключенных. Десять человек в день – без бюрократизма – хоть блатарь, хоть сектант, хоть русский интеллигент. Впрочем, ни блатари, ни сектанты с просьбами к Берзину не обращались. Живая очередь. Первый день я пришел, опоздал – был одиннадцатый, и когда

десять человек прошли, Берзин тронул коня и поскакал на строительство.

Я хотел обратиться к нему на работе – товарищи отсоветовали, как бы не испортить дела. Порядок есть порядок. Десять человек в день, пока начальник садится в седло. На другой день я пришел пораньше и дождался. Я попросил взять меня с собой на Колыму.

Разговор этот помню, каждое слово.

– А ты кто? – Берзин отвел лошадиную морду рукой, чтобы лучше расслышать.

– Инженер Покровский, гражданин начальник. Работаю начальником участка на Вишхимзе. Главный корпус строю, гражданин начальник.

– А что тебе надо?

– Возьмите меня с собой на Колыму, гражданин начальник.

– А какой у тебя срок?

– Десять лет, гражданин начальник.

– Десять? Не возьму. Если бы у тебя было три или там пять – это другое дело. А десять? Значит, что-то есть. Что-то есть.

– Я клянусь, гражданин начальник ...

– Ну ладно. Я запишу в книгу. Как твоя фамилия? Покровский. Запишу. Тебе ответят.

Берзин тронул коня. На Колыму меня не взяли. Я получил досрочное на этом же строительстве и выплыл в большое море. Работал везде. Но лучше, чем на Вишере, чем при Берзине – мне нигде не работалось. Единственная стройка, где все делалось в срок, а если не в срок – Берзин скомандует и все является как из-под земли. Инженеры (заключенные, подумать только!) получали право задерживать людей на работе, чтобы перевыполнять норму. Все мы получали премии, на досрочное нас представляли. Зачетов рабочих дней тогда не было.

И начальство нам говорило – работайте от души, а кто будет работать плохо – отправят. На Север. И показывали рукой вверх по течению Вишеры. А что такое Север, я и не знаю.

. . . . . .

Я знал Берзина. По Вишере. На Колыме, где Берзин умер, я его не видел – поздно меня на Колыму привезли.

. . . . . .

Генерал Гровс относился с полным презрением к ученым Манхэттенского проекта. И не стеснялся высказывать это презрение. Одно досье Роберта Оппенгеймера чего стоило. В мемуарах Гровс объясняет свое желание получить генеральский чин раньше назначения начальником Манхэттенского проекта. "Мне часто приходилось наблюдать, что символы власти и ранги действуют на ученых сильнее, чем на военных".

Берзин относился с полным презрением к инженерам. Все эти вредители – Мордухай-Болтовский, Покровский, Будзко. Заключенные инженеры, строившие Вишерский комбинат. Выполним к сроку! Молния! План! Эти люди не вызывали у начальника ничего кроме презрения. На удивление, на философские удивления бездонностью, безграничностью унижения человека, распадом человека у Берзина просто не хватало времени. Сила, которая сделала его начальником, знала людей лучше, чем он сам.

Герои первых вредительских процессов – инженер Бояршинов, Иноземцев, Долгов, Миллер, Финдикаки бойко работали за "пайку", за смутную надежду быть представленными к досрочному освобождению.

Зачеток тогда еще не было, но уже было ясно, что необходима какая-то желудочная шкала для легкого управления человеческой совестью.

Берзин принял строительство Вишерского комбината в 1928 году. Уехал с Вишеры на Колыму в конце 1931 года.

Я, пробывший на Вишере с апреля 1929 года до октября 1931 года, застал и видел только берзинское.

Личным пилотом Берзина (на гидроплане) был заключенный Володя Гинце – московский летчик, осужденный за вредительство в авиации на три года. Близость к начальству давала Гинце надежду на досрочное освобождение, и Берзин при своем презрении к людям это хорошо понимал.

В своих поездках Берзин всегда спал, где придется – у начальства, разумеется, не стремясь обеспечить себя какой-то особой охраной. Его опыт подсказывал, что в русском народе любой заговор будет выдан, продан, добровольные доносчики сообщат даже о тени заговора – все равно. Доносчики эти обычно коммунисты бывшие, вредители или родовитые интеллигенты или потомственные блатари. Донесет, не беспокойтесь. Спите спокойно, гражданин начальник. Эту сторону лагерной жизни Берзин понимал хорошо, спокойно ездил и летал, спокойно спал, и был убит, когда пришло время, своим же начальством.

Тот самый Север, которым пугали молодого Покровского, существовал, еще как существовал. Север набирал силу, темп. Север-управление его было в Усть-Улсе при впадении Улса в Вишеру – там теперь нашли алмазы. Берзин тоже их искал, но не нашел. На Севере велись лесозаготовки – самая тяжелая работа для арестанта на Вишере. Колымские "разрезы", кайло колымских каменоломен, работа на шестидесятиградусном морозе – все это было впереди. Вишера сделала немало, чтобы могла быть Колыма. Вишера – это двадцатые годы, конец двадцатых годов.

На Севере – на его участках лесных Пеле и Мыке, Вае и Ветрянке, заключенные при "перегоне" – заключенные ведь не ходят, их "гоняют" – это официальный словарь – требовали связать руки за спиной, чтоб конвой не мог в дороге убить "при попытке к бегству". "Свяжите руки, тогда пойду. Составьте акт". Те, кто не догадался умолить

начальство связать себе руки – подвергались смертельной опасности. "Убитых при попытке к бегству" было очень много.

В одном из лагерных отделений блатари отнимали каждую посылку фраеров. Начальник не выдержал и застрелил трех блатарей. И выставил трупы в гробах на вахте. Трупы стояли три дня и три ночи. Кражи были прекращены, начальник снят с работы, переведен куда-то.

Аресты, провокационные дела, внутрилагерные допросы, следствия кипели в лагере. Огромная по штату "третья часть" набиралась из осужденных чекистов, проштрафившихся и прибывших к Берзину под спецконвоем, чтобы сейчас же занять место за следовательскими столами. Ни один бывший чекист не работал на работе не по специальности. Полковник Ушаков, начальник розыскного отдела Дальстроя, переживши Берзина вполне благополучно, был осужден на три года за превышение власти по 110 статье. Ушаков кончил срок через год, остался на службе у Берзина и вместе с Берзиным уехал строить Колыму. И немало людей сидели "за Ушаковым" в качестве меры пресечения – предварительный арест. Ушаков, правда, "не политик". Его дело – розыск, розыск беглецов. Был Ушаков и начальником режимных отделов на Колыме же, подписывал даже "Права з/к з/к" или, вернее, Правила содержания заключенных, которые состояли из двух частей:

I – Обязанности: заключенный должен, заключенный не должен.

II – Права: право жаловаться, право писать письма, право немного спать, право немного есть.

А в молодости Ушаков был агентом Московского уголовного розыска, сделал "ошибку" и получил трехлетний срок, и уехал на Вишеру.

Жигалов, Успенский, Пестkевич вели большое лагерное дело против начальника III отделения (Березники). Дело

это – о взятках, о приписках кончилось ничем из-за твердости нескольких заключенных, просидевших под следствием, под угрозами по 3-4 месяца в лагерных изоляторах – тюрьмах.

Дополнительный срок был не редкость на Вишере. Такой срок получили Лазаренко, Глухарев.

За побег тогда сроки не давали, полагался изолятор трехмесячный с железным полом, – что для раздетых, в белье, смертельно зимой.

Я там арестовывался "органами" местными дважды, дважды прошел следствия, допросы.

Этот изолятор был страшен для опытных. Беглецы, блатари умоляли коменданта I отделения Нестерова не сажать в изолятор. Они никогда не будут, никогда не побегут. И комендант Нестеров, показывая волосатый кулак, говорил: "Ну, выбирай, плесна или в изолятор!"

– Плесна! – жалобно отвечал беглец.

Нестеров взмахивал рукой и беглец падал с ног, залитый кровью.

В нашем этапе в апреле 1929 года конвой напоил зубную врачиху Зою Васильеву, осужденную по 58 статье по делу "Тихого Дона", и каждую ночь насиловал ее коллективно. В том же этапе был сектант Заяц. Отказывался вставать на поверку. Его избивал ногами конвоир каждую поверку. Я вышел из рядов, протестовал и той же ночью был выведен на мороз, раздет догола и стоял на снегу столько, сколько захотелось конвою. Это было в апреле 1929 года.

Летом тридцатого года в лагере на Березниках скопилось человек триста заключенных, актированных по 458 статье – на свободу из-за болезней. Это были исключительно люди Севера – с черно-синими пятнами, с контрактурами цинги, с культями отморожений. Саморубов по 458 статье не освобождали, и до конца срока или до случайной смерти саморубы жили в лагерях.

Начальник лагерного отделения Стуков распорядился было прогуливать в целях леченья, но все транзитники отказались от прогулки – еще выздоровеешь, пожалуй, и снова попадешь на Север.

Да, Севером пугали Покровского не напрасно. Летом 1929 года – я первый раз увидел этап с Севера, большую пыльную змею, сползавшую с горы и видную далеко. Потом сквозь пыль засверкали штыки, потом глаза. Зубы там не сверкали, выпали от цинги. Растрескавшиеся сухие рты, серые шапки-соловчанки, суконные ушанки, суконные бушлаты, суконные брюки. Этот этап запомнился на всю жизнь.

Разве все это было не при Берзине, у стремени которого трепетал инженер Покровский?

Эта страшная черта русского характера – унизительное раболепство, благоговение перед каждым лагерным начальником. Инженер Покровский – только один из тысяч, готовых молиться, лизать руку "большому" начальнику.

– Что вам так понравилось на Важаихе?

– Как же. Нам дали постирать белье в реке. После тюрьмы, после этапа это большое дело. К тому же доверие. Удивительное доверие. Стирали прямо на реке, на берегу, и бойцы охраны видели и не стреляли! Видели и не стреляли!

– Река, где вы купались – в зоне охраны, в кольцевой опояске караульных вышек, расположенных в тайге. Какой же риск для Берзина давать вам стирать белье? А за кольцом вышек – другое кольцо таежных "секретов" – патрулей, оперативников. Да еще летучие контрольные патрули проверяют друг друга.

– Да-а-а.

– А знаете, какая последняя фраза, с которой меня провожала Вишера, ваша и моя, когда я освободился осенью тридцать первого года. Вы тогда уже стирали свое белье в речке.

– Какая?

– Прощайте. Пожили на маленькой командировке, поживите на большой.

Легенда о Берзине из-за его экзотического для обывателя начала – "Заговор Локкарта", Ленин, Дзержинский! – и трагического конца – Берзин расстрелян Ежовым и Сталиным в конце тридцать седьмого года – разрастается пышным цветом преувеличений.

В локкартовском деле всем людям России надо было сделать выбор, бросить монету – орел или решка. Берзин решил выдать, продать Локкарта. Такие поступки диктуются часто случайностью: плохо спал, и духовой оркестр в саду играл слишком громко. Или у локкартовского эмиссара было что-то в лице, внушающее отвращение. Или в своем поступке царский офицер видел веское свидетельство своей преданности еще не родившейся власти?

Берзин был самым обыкновенным лагерным начальником, усердным исполнителем "воли пославшего". Берзин держал у себя на колымской службе всех деятелей ленинградского ОГПУ времен кировского дела. Туда, на Колыму люди эти были просто переведены на службы – сохраняли стаж, надбавки и так далее. Ф. Медведь, начальник ленинградского отделения ОГПУ, был на Колыме начальником Южного горнопромышленного управления и по берзинскому делу расстрелян, вслед за Берзиным, которого вызвали в Москву и сняли с поезда под Александровом.

Ни Медведь, ни Берзин, ни Ежов, ни Берман, ни Прокофьев не были сколько-нибудь способными, сколько-нибудь замечательными людьми.

Славу им дал мундир, звание, военная форма, должность.

Берзин также убивал по приказу свыше в 1936 году. Газета "Советская Колыма" полна извещений, статей о процессах, полна призывов к бдительности, покаянных речей, призывов к жестокости и беспощадности.

В течение тридцать шестого года, и тридцать седьмого, с этими речами выступал сам Берзин – постоянно, старательно, боясь что-нибудь упустить, недосмотреть. Расстрелы врагов народа на Колыме шли и в тридцать шестом году.

Одним из главных принципов убийств сталинского времени было уничтожение одним рядом партийных деятелей другого. А эти в свою очередь гибли от новых – из третьего ряда убийц.

Я не знаю, кому тут везло, и в чьем поведении была уверенность, закономерность. Да и так ли это важно.

Берзина расстреляли в декабре 1937 года. Он погиб, убивая для того же Сталина.

Легенду о Берзине развеять не трудно, стоит только просмотреть колымские газеты того времени – тридцать шестого! тридцать шестого! года. И тридцать седьмого, конечно.

"Серпантинная" следственная тюрьма Северного горного управления, где велись массовые расстрелы полковником Гараниным в 1938 году, эта "командировка" открыта в Берзинское время.

Труднее понять другое. Почему только не находят в себе достаточных внутренних сил, нравственной стойкости для того, чтобы с уважением относиться к самому себе и не благоговеть перед мундиром, перед чином.

Почему способный скульптор с упоением, отдачей и благоговением лепит какого-то начальника ГУЛага? Что так повелительно привлекает художника в начальнике ГУЛага? Правда, и Овидий Назон был начальником ГУЛага. Но ведь не работой в лагерях прославлен Овидий Назон.

Ну, скажем, художник, скульптор, поэт, композитор может быть вдохновлен иллюзией, подхвачен и унесен эмоциональным порывом и творит любую симфонию, интересуясь только потоком красок, потоком звуков. Почему все же этот поток вызван фигурой начальника ГУЛага?

Почему ученый чертит формулы на доске перед тем же начальником ГУЛага и вдохновляется в своих материальных инженерных поисках именно этой фигурой. Почему ученый испытывает то же благоговение к какому-нибудь начальнику лагерного ОЛП'а. Потому только, что тот начальник?

Ученые, инженеры и писатели, интеллигенты, попавшие на цепь, готовы раболепствовать перед любым полуграмотным дураком.

"Не погубите, гражданин начальник" – в моем присутствии говорил местному уполномоченному ОГПУ в тридцатом году арестованный завхоз лагерного отделения. Фамилия завхоза была Осиненко. А до семнадцатого года Осиненко был секретарем митрополита Питирима, принимал участие в распутинских кутежах.

Да что Осиненко! Все эти Рамзины, Очкины, Бояршиновы вели себя так же.

Был Майсурадзе, киномеханик на "воле", около Берзина, сделавший лагерную карьеру и дослужившийся до должности начальника УРО. Майсурадзе понимал, что стоит "у стремени".

– Да, мы в аду, – говорил Майсурадзе. – Мы на том свете. На воле мы были последними. А здесь мы будем первыми.

И любому "Иван Ивановичу" придется с этим считаться. "Иван Иванович" – это кличка интеллигента на блатном языке.

Я думал много лет, что все это только "Расея" – немыслимая глубина русской души.

Но из мемуаров Гровса об атомной бомбе я увидел, что это подобострастие в общении с генералом свойственно миру ученых, миру науки не меньше.

Что такое искусство? Наука? Облагораживают ли они человека? Нет, нет и нет. Не из искусства, не из науки прио-

бретает человек свои ничтожно малые положительные качества. Что-нибудь другое дает ему нравственную силу, но не его профессия, не талант.

Всю жизнь я наблюдаю раболепство, пресмыкательство, самоунижение интеллигенции – а о других слоях общества и говорить нечего.

В ранней молодости каждому подлецу я говорил в лицо, что он – подлец. В зрелые я видел то же самое. Ничто не изменилось после моих проклятий. Изменился только сам я, стал осторожнее, трусливей. Я знаю секрет этой тайны людей, стоящих "у стремени". Это одна из тайн, которую я унесу в могилу. Я не расскажу. Знаю и не расскажу.

. . . . . .

На Колыме у меня был хороший друг, Моисей Моисеевич Кузнецов. Друг не друг – дружбы там не бывает, – а просто человек, к которому я относился с уважением. Кузнец лагерный.. Я у него работал молотобойцем. Он мне рассказал белорусскую притчу о том, как три пана – еще при Николае, конечно, – пороли три дня и три ночи без отдыха белорусского мужика-бедолагу. Мужик плакал и кричал: "А как же я не евши".

К чему эта притча? Да ни к чему. Притча – и все.

# # #

ТАМАРИН-МИРЕЦКИЙ

Александр Александрович Тамарин-Мирецкий был не Тамарин и не Мирецкий. Он был татарский князь Хан-Гирей, генерал из свиты Николая Второго. Когда Корнилов летом семнадцатого года шел на Петроград, Хан-Гирей был начальником штаба Дикой дивизии – особо верных царю кавказских воинских частей. Корнилов не дошел до Петрограда, и Хан-Гирей остался не у дел. Позднее, по призыву Брусилова, известному испытанию офицерской совести, Хан-Гирей вступил в Красную армию и обратил свое оружие против своих бывших друзей. Здесь Хан-Гирей исчез, а явился кавалерийский командир Тамарин, командир кавалерийского корпуса – три ромба по сравнительной шкале военных званий того времени. Тамарин участвовал в этом чине в гражданской войне, а к концу гражданской самостоятельно командовал операциями против басмачей, против Энвера-паши. Басмачи были разбиты, рассеяны, но Энвер-паша выскользнул в песках Средней Азии из рук красных кавалеристов, исчез где-то в Бухаре и снова появился на советских границах – с тем, чтобы быть убитым в случайной перестрелке патрулей. Так кончилась жизнь Энвер-паши, талантливого военачальника, политика, объявившего когда-то Газават, священную войну Советской России.

Тамарин командовал операцией по уничтожению басмачей, и когда выяснилось, что Энвер-паша бежал, ускользнул, исчез – началось следствие по делу Тамарина. Тамарин доказывал свою правоту, объяснял неудачу поимки Энвера. Но

Энвер был слишком видной фигурой. Тамарина демобилизовали, и князь остался без будущего, без настоящего. Жена Тамарина умерла, но была жива и здорова старуха-мать, была жива сестра. Тамарин, поверивший Брусилову, чувствовал ответственность за семью.

Всегдашний интерес Тамарина к литературе – к современной поэзии даже, интерес и вкус, дал бывшему генералу возможность заработка по литературной части. Александр Александрович напечатал несколько статей-образов в "Комсомольской Правде". Подпись: А.А. Мирецкий.

Половодье входит в берега. Но где-то шелестят анкетами, где-то вскрывают пакеты и, не подшивая к делу, несут бумажку на доклад.

Тамарин арестован. Новое следствие ведется уже вполне официально. Три года концентрационных лагерей за нераскаяние. Сознание смягчило бы вину.

В 1928 году был только один концлагерь в России – УСЛОН. Четвертое отделение Соловецких лагерей особого назначения открылось недавно в верховьях Вишеры, сто километров от Соликамска, близ деревни Важаиха. Тамарин едет в этапе на Урал в столыпинском арестантском вагоне, обдумывая один план, очень важный, далеко рассчитанный план. Вагон, в котором везут Александра Александровича на север – столыпинский вагон из последних. Огромная нагрузка на вагонный парк, плохой ремонт – все привело к тому, что "столыпинские" стали вымирать, рассыпаться. Соскочил где-то с колеи, стал жилищем железнодорожных ремонтников, одряхлел, его актировали, и вагон исчез. Вовсе не в интересах нового правительства было обновлять именно "столыпинский" вагонный парк.

Был "столыпинский" галстук – виселица. Столыпинские хутора. Столыпинская земельная реформа вошла в историю. Но о "столыпинских" вагонах говорят все, по простоте душевной считая, что это – арестантский вагон, с решетками, специальный вагон для перевозок арестантов.

На самом же деле последние "столыпинские" вагоны, изобретенные в девятьсот пятом году, государство донашивало во время гражданской войны. Столыпинских вагонов давно нет. Сейчас любой вагон с решетками называют столыпинским.

Настоящий же "столыпинский" вагон модели 1905 года был теплушкой с маленькой щелью в центре стены, густо перекрещенной железом, с глухой дверью и узким коридорчиком для конвоя с трех сторон вагона.

Но что столыпинский вагон арестанту Тамарину.

Александр Александрович Тамарин не только кавалерийский генерал. Тамарин был садовод, цветовод, умевший, любивший выращивать розы. Он будет выращивать розы — как Гораций, как Суворов. Седой генерал с садовыми ножницами в руках, срезающий гостям благоухающий букет "Звезды Тамарина" — особой породы роз, отмеченной первой премией на международной выставке в Гааге. Или еще сорт — "Гибрид Тамарина" — северная красавица, петербургская Венера.

Эта мечта владела Тамариным с детства: выращивать розы — классическая мечта всех военных на пенсии, всех президентов, всех министров в мировой истории.

В кадетском корпусе, перед отходом ко сну, Хан-Гирей видел себя то Суворовым, переходящим Чертов мост, то Суворовым с садовыми ножницами среди сада в селе Кончанском. Впрочем, нет. Кончанское — опала Суворова. Хан-Гирей, утомленный подвигами во славу Марса, выращивает розы просто потому, что пришло время, исполнились сроки. После роз — никакого Марса.

Эта робкая мечта все разгоралась и разгоралась, пока не стала страстью. А когда стала страстью — Тамарин понял, что для выращивания роз нужно знание земли, а не только стихов Вергилия. Цветовод незаметно стал огородником и садоводом. Хан-Гирей поглощал эти знания быстро, учился

шутя. Никогда Тамарин не жалел времени на любой цветоводный опыт. Не жалел времени, чтобы прочесть лишний учебник по растениеводству, по огородничеству.

Да, цветы и стихи! Серебряная латынь звала к стихам современных поэтов. Но главное – Вергилий и розы. Но может быть не Вергилий, а Гораций. Вергилий почему-то выбран Дантом в проводники сквозь ад. Хороший это или плохой символ? Поэт сельских радостей – надежный ли проводник по аду?

Ответ на этот вопрос Тамарин успел получить.

Но раньше выращивания роз пришла революция Февральская, Дикая дивизия, гражданская война, концлагерь на Северном Урале. Тамарин решил поставить новую ставку в своей жизни-игре.

Цветы, выращенные Тамариным в концлагере, в Вишерском сельхозе, возили на выставки в Свердловск с большим успехом. Тамарин понял, что цветы на Севере – путь к свободе. С этого времени чисто выбритый старик в заплатанном чекмене ставил на стол директора Вишхимза, начальника Вишерских лагерей Эдуарда Петровича Берзина, свежую розу – ежедневно.

Берзин тоже кое-что слышал о Горации, о выращивании роз. Классическая гимназия эти знания давала. А главное – Берзин вполне доверял вкусам Александра Александровича Тамарина. Старый царский генерал, ежедневно ставящий свежую розу на письменный стол молодого чекиста. Это было неплохо. И требовало благодарности.

Берзин, сам царский офицер, сам в свое время, 24-х лет от роду, в локкартовском деле поставил жизнь-ставку на советскую власть. Берзин понимал Тамарина. Это была не жалость, а общность судеб, связавшая обоих надолго. Берзин понимал, что лишь по воле случая – он в кабинете директора Дальстроя, а Тамарин с лопатой в лагерном огороде. Это были люди одного воспитания, одной катастрофы. Никакой

разведки и контрразведки не было в жизни Берзина, пока не возник Локкарт и необходимость выбора.

. . . . . .

В двадцать четыре года жизнь кажется бесконечной. Человек не верит в смерть.

Недавно на кибернетических машинах вычислили средний возраст предателей в мировой истории – от Гамильтона до Валленрода.

Этот возраст – двадцать четыре года.

Стало быть и тут Берзин был человеком своего времени. Полковой адъютант, прапорщик Берзин... Любитель-художник. Знаток Барбизонской школы. Эстет, как все чекисты тех времен. Впрочем, он еще не был чекистом. Дело Локкарта было ценой за эту работу, вступительным партийным взносом Берзина.

. . . . . .

Я приехал в апреле, а летом пришел к Тамарину, переправился через реку по особому пропуску.

Тамарин жил при оранжерее. Комната со стеклянной парниковой крышей, темный, тяжелый запах цветов, запах сырой земли, парниковые огурцы и рассада, рассада. Александр Александрович соскучился по собеседнику. Отличать акмеистов от имажинистов не умел ни один тамаринский сосед по нарам, ни один помощник и начальник.

Вскоре началась эпидемия "перековки". Исправдома были переданы ОГПУ, и новые начальники по новым законам поехали на все четыре стороны света, открывая все новые и новые лагерные отделения. Страна покрылась густой сетью концлагерей, которые к этому времени переименовали в "исправительно-трудовые".

Помню большой митинг заключенных летом 1929 года в управлении УВЛОН – на Вишере. После доклада заместителя Берзина – штрафного чекиста Теплова – о новых планах советской власти, о новых рубежах в лагерном деле,

был задан вопрос Петром Иешиным, каким-то партийным лектором из Свердловска.

– Скажите, гражданин начальник, чем отличаются исправительно-трудовые лагеря от концентрационных?

Теплов звонко и с удовольствием повторил вопрос. – Это вы спрашиваете?

– Да, именно это, – сказал Иешин.

– Ничем не отличаются, – звонко выговорил Теплов.

– Вы меня не поняли, гражданин начальник.

– Я вас понял. – И Теплов перевел глаза не то выше, не то ниже Иешина, и никак не отвечал на сигналы Иешина – просьбу задать еще вопрос.

Волна "перековки" перенесла меня в Березники, на станцию Усольская, как это называлось в те времена.

Но еще раньше, в ночь перед моим отъездом, Тамарин пришел в лагерь в четвертую роту, где я жил, чтобы попрощаться. Оказалось, это не меня увозят – это увозят Тамарина: спецконвоем, в Москву.

– Поздравляю, Александр Александрович. Это на пересмотр, на освобождение.

Тамарин был небрит. Щетина у него была такая, что при дворе царя приходилось бриться дважды в день. В лагере же – он брился один раз в день.

– Это – не освобождение и не пересмотр. Мне остался год сроку из трех лет. Неужели вы думаете, что кто-нибудь пересматривает дела. Прокуратура по надзору или какая-нибудь другая организация. Я заявлений не подавал никаких. Я стар. Я хочу здесь жить, на Севере. Здесь хорошо – я раньше, в молодости, севера не знал. Матери нравится тут. Сестре – тоже. Я хотел здесь умереть. И вот – спецконвой.

– Меня отправляют с этапом завтра – открывать Березниковскую командировку, бросить первую лопату на главную стройку второй пятилетки... Мы не можем ехать вместе.

– Нет, у меня спецконвой.

Мы распрощались, а завтра нас погрузили на "шитик", и шитик сплыл до Дедюхина, до Ленвы, где в старом складе и разместили первую партию заключенных, поднявших на своей спине, своей крови корпуса Березникхимстроя.

Цинги в берзинские времена было в лагере очень много, и не только с грозного "Севера", откуда пыльной змеей время от времени приползали, сползали с гор этапы отработавшихся. Север – это Усть-Ула и Кутим – где сейчас алмазы. Искали алмазы и раньше, но эмиссарам Берзина не везло. Притом лагерь с цингой, с побоями, с рукоприкладством походя, с убийствами бессудными – доверия у местного населения не вызывал. Только потом судьба ссыльных по коллективизации семей кубанских "раскулаченных", которых бросили на снег и на смерть в уральских лесах, подсказала, что страна готовится к большой крови.

Пересылка на Ленве была в том же бараке, где мы были размещены, вернее частью барака – верхним его этажом.

Конвоир только что завел туда какого-то мужчину с двумя чемоданами, в чекмене каком-то потертом... Спина была очень знакомой.

– Александр Александрович?

Мы обнялись. Тамарин был грязен, но весел, гораздо веселей, чем на Важаихе – при нашем последнем свидании. И я сразу понял, почему.

– Пересмотр?

– Пересмотр. Было три года, а теперь дали десять, высшую меру с заменой десятью годами – и я возвращаюсь! На Вишеру!

– Чего ж вы радуетесь?

– Как? Остаться жить – это главное в моей философии. Мне 65 лет. До конца нового срока я все равно не доживу. Зато кончилась всякая неизвестность. Я попрошу Берзина – дать мне умереть в сельхозе в моей светлой комнате с

потолком из парниковых рам. После приговора я мог проситься в любое место, но я немало потратил сил, чтобы выпросить возвращение, возвращение. А срок... Все это чепуха – срок. Большая командировка или маленькая командировка – вот и вся разница. Вот отдохну, переночую и завтра на Вишеру.

А причины, причины... Конечно, есть причины. Есть объяснения.

Заграницей вышли в свет мемуары Энвера. В самих мемуарах ни слова о Тамарине не говорилось, но предисловие к книге написал бывший адъютант Энвера. Адъютант написал, что Энвер ускользнул только благодаря содействию Тамарина, с которым Энвер, по словам адъютанта, был знаком, дружен и переписывался еще со времен службы Хан-Гирея при царском дворе. Эта переписка продолжалась и позже. Следствие, конечно, установило, что если бы Энвера не убили на границе – Тамарин, тайный мусульманин, должен был возглавить Газават и положить к ногам Энвера Москву и Петроград. Весь этот стиль следствия пышным кровавым цветом расцвел в тридцатые годы. "Школа", почерк один и тот же.

Но Берзин был знаком с почерком провокаторов и не поверил ни одному слову нового следствия по делу Тамарина. Берзин читал воспоминания Локкарта, статьи Локкарта о своем, берзинском деле. 1918 год. В этих статьях, мемуарах, латыш изображался союзником Локкарта, английским, а не советским шпионом. Место в сельхозе за Тамариным было закреплено навечно. Обещания начальников – хрупкая вещь, – но все же покрепче вечности, как показывало время.

Тамарин стал готовиться не совсем к той работе, которой хотел заниматься на первых порах после "пересмотра" дела. И хотя, по-прежнему, на стол Берзина старый агроном в чекмене ежедневно ставил свежую вишерскую розу, вишерскую орхидею, – думал он не только о розах.

Первый трехлетний срок Тамарина кончился, но он о нем и не думал. Судьбе нужна кровавая жертва, и эта жертва приносится. Умерла мать Тамарина – огромная, веселая кавказская старуха, которой так нравился Север, которая хотела подбодрить сына, поверить в его увлечение, в его план, в его путь, зыбкий путь. Когда выяснилось, что новый срок – десять лет, старуха умерла. Быстро умерла, в неделю. Ей так нравился Север, но сердце не выдержало Севера. Осталась сестра. Младше Александра Александровича, но тоже седая старуха. Сестра работала машинисткой в конторе Вишхимза, все еще веря в брата, в его счастье, в его судьбу.

В 1931 году Берзин принял новое большое назначение – на Колыму, директором Дальстроя. Это был пост, где Берзин совмещал в себе высшую власть окраинного края – восьмой части Советского Союза – партийную, советскую, военную, профсоюзную и так далее.

Геологическая разведка – экспедиции Билибина, Цареградского – дали превосходные результаты. Запасы золота были богаты – оставались пустяки – добыть это золото на шестидесятиградусном морозе.

О том, что на Колыме есть золото – это известно триста лет. – Но ни один царь не решался добывать это золото принудительным трудом, арестантским трудом, рабским трудом. Решилась на это только советская власть. После первого года – Беломорканала, после Вишеры – решили, что с человеком все сделать можно – границы его унижения безмерны, его физическая крепость безмерна. Оказалось, что можно изобретать ради второго блюда по шкале – производственной, ударной и стахановской – как к тридцать седьмому стали называть наивысший паек лагерников или колым-армейцев, как их называли в газетах тогда.

Для этого золотого предприятия, для этого дела по колонизации края, а позже для физического истребления

врагов народа, искали человека. И лучше Берзина не нашли. Берзин относился с полным презрением к людям, не с ненавистью, а с презрением.

Первый колымский начальник с правом побольше, чем у генерал-губернатора Восточной Сибири – Ивана Пестеля, отца Пестеля-декабриста, Берзин взял с собой Тамарина – по сельскохозяйственной части – экспериментировать, доказывать, прославлять. Были созданы сельхозы по типу вишерских – сначала вокруг Владивостока, а потом близ Эльгена.

Опорное сельское хозяйство на Эльгене, в центре Колымы, было упрямым капризом и Берзина и Тамарина.

Берзин считал, что будущий центр Колымы не приморский Магадан, а Тасканская долина. Магадан – только порт.

В Тасканской долине земли было чуть побольше, чем на голых скалах всего Колымского края.

Там создали совхоз, убили миллионы на доказательство недоказуемого. Вызревать картошка не хотела. Картошку выращивали в парниках, высаживали как капусту на бесконечных "ударниках", субботниках лагерного типа, заставляли заключенных там работать, высаживать эту рассаду "для себя". "Для себя!" Я немало поработал на таких "субботниках", а картошка так и осталась картошкой.

Через год лагерная Колыма дала первое золото, в 1935 году Берзин был награжден орденом Ленина. Александр Александрович получил реабилитацию, снятие судимости. Сестра его к этому времени тоже умерла, но Александр Александрович еще держался. Писал в журналах статьи – на этот раз не о молодой комсомольской жизни, а о своих сельскохозяйственных экспериментах... Александр Александрович вывел сорт капусты "Гибрид Тамарина", особенный какой-то северный, как мичуринский сорт. Капуста, а не роза! На фотографии капуста выглядит, как огромная роза – крупный, крутой бутон. 32 тонны "с гектара".

"Дыня-тыква Тамарина" – вес 40 килограмм! Картофель селекции Тамарина.

Александр Александрович возглавил на Колыме отделение растениеводства Дальневосточной Академии Наук.

Тамарин делал доклады в Академии с.-х. наук, ездил в Москву, спешил.

Тревога тридцать пятого года, кровь тридцать пятого года, арестантские "потоки", где было много друзей и знакомых самого Берзина, пугали, настораживали Тамарина. Берзин выступал и клеймил, разоблачал и судил разнообразных вредителей и шпионов из числа своих подчиненных, как "просочившихся, пробравшихся в ряды" – до того дня, пока сам не стал вредителем и шпионом.

Комиссия за комиссией изучали берзинское царство, допрашивали, вызывали...

Тамарин чувствовал всю шаткость, всю непрочность своего положения. Ведь только в тридцать пятом году была с Тамарина снята судимость "с восстановлением во всех правах".

Тамарин получил право приехать на Колыму как вольнонаемный работник сельского хозяйства Севера, как дальневосточный Мичурин, как дальневосточный чародей. Договор был подписан в Москве, в 1935 году.

Успех овощных урожаев в лагерях под Владивостоком был велик. Бесплатная рабочая сила арестантская – неограниченная на Дальстроевской транзитке, делала чудеса. Выбранные из этапов агрономы, вдохновленные обещанием досрочного освобождения, зачетами рабочих дней, не щадили себя, ставя любые опыты. За неудачу тут пока не преследовали. Лихорадочно искали удачу. Но все это – материк, Большая земля, Дальний Восток, а не дальний Север. Но и на Дальнем Севере начинались опыты – в Тасканской долине, на Эльгене, в Сеймчане, на побережье близ Магадана.

На Вишере Александр Александрович Тамарин-Мирецкий пробыл с 1928 до 1932 года. В 1932 году Тамарин

заключенным приехал в Дальстрой, во Владивосток. Первое колымское золото, выданное в 1934 году, сделало Тамарина свободным. Приказ о снятии судимости относится к началу тридцать пятого года.

Но — не было свободы, подготовленной так тщательно, с таким бесконечным унижением, изворотливостью и осторожностью. На Колыму с материка шли арестантские эшелоны. Мир, сотворенный для Тамарина Берзиным, рассыпался на куски. Много деятелей кировского и до-кировского времени нашли у Берзина службу как бы запаса. Так, Ф. Медведь, начальник ленинградского ОГПУ во время убийства Кирова, был у Берзина начальником южного ОГПУ. В первом случае ГП значит "государственно-политическое", а во втором только "горно-промышленное" — лингвистические забавы работников "органов".

Пришел тридцать шестой год — с расстрелами, с разоблачениями, с покаяниями.

За тридцать шестым — тридцать седьмой.

На Колыме было много процессов, но этих местных жертв Сталину было мало. В пасть Молоху надо было кинуть жертву покрупнее.

В ноябре тридцать седьмого года Берзин был вызван в Москву с предоставлением годового отпуска. Директором Дальстроя был назначен Павлов. Берзин представил нового начальника партактиву Дальстроя. Ехать вместе с Павловым на прииски — сдавать хозяйство не было времени — торопила Москва.

Перед отъездом Берзин помог Тамарину получить отпуск "на материк". Дальстроевец с двухлетним стажем, Александр Александрович не выслужил еще отпуска. Этот отпуск — последнее благодеяние, оказанное директором Дальстроя генералу Хан-Гирею.

Ехали они в одном вагоне. Берзин был как всегда хмур. Уже под Москвой, в Александрове, в ледяную метельную

декабрьскую ночь, Берзин вышел на перрон. И в вагон не вернулся. Поезд пришел в Москву без Берзина. Тамарин, переждав несколько дней настоящей своей свободы – первой за двадцать лет, пытался узнать о судьбе своего многолетнего начальника и покровителя. В один из таких визитов в представительство Дальстроя Тамарин узнал, что он и сам уволен "из системы", уволен заочно и навсегда.

Тамарин решил еще раз попытать свое счастье. Всякое заявление, жалоба, просьба в те годы были привлечением внимания к жалобщику, риском смертельным. Но Тамарин был стар. Он не хотел ждать. Да, стариком он стал, не хотел, не мог ждать. Тамарин написал заявление в управление Дальстроя с просьбой вернуть его, Тамарина, для работы на Колыму. Тамарин получил отказ – в таких специалистах послеберзинская Колыма не нуждалась.

Был март тридцать восьмого года, все пересылки страны были забиты этапами, этапами, этапами. Все железные дороги страны были забиты арестантскими эшелонами. Смысл ответа был такой: если тебя и привезут, то только под конвоем.

Это был последний след Хан-Гирея, садовника и генерала на нашей земле.

Судьбы Берзина и Тамарина очень схожи. Оба они служили силе и слушались этой силы. Верили в силу. И сила их обманула.

Дела Локкарта Берзину никогда не простили, не забыли. Ни у нас, ни на Западе. На Западе мемуаристы считали Берзина верным участником английского договора. Ни Ленина, ни Дзержинского, знавших подробности локкартовского дела, не было уже в живых. И когда пришел час, Сталин убил Берзина. Около государственных тайн слишком горячо людям, даже с такой холодной кровью, как Берзин.

###

БОРИС ЮЖАНИН

В один из осенних дней тридцатого года пришел арестантский этап – теплушка номер сорок какого-то энного эшелона, идущего на север, на север, на север. Все пути были забиты. Железная дорога едва справлялась с перевозками "раскулаченных" – с женами и малыми детьми "раскулаченных" гнали на север, чтобы бросить кубанцев, сроду не видевших леса, – в густую уральскую тайгу. По Чердынским леспромхозам уже через год надо было посылать комиссии, – переселенцы поумирали, план лесозаготовок был под угрозой. Но все это было потом, а сейчас "лишенцы" еще вытирались украинским пестрым рушником, умывались, радуясь и не радуясь отдыху, задержке их. Поезд задерживали, он уступал дорогу – кому – арестантским эшелонам. Эти знали – их привезут и возьмут под винтовку, а потом каждый будет ловчить, сражаться за свою судьбу, "ломать судьбу". Кубанцы же ничего не знали – какой смертью они умрут, где и когда. Кубанцев всех отправляли в теплушках. И арестантские эшелоны – числом поболее – тоже отправляли в теплушках. Настоящих "столыпинских" вагонов – теплушечных – было мало, и под арестантские этапы стали оборудовать, заказывать на заводах обыкновенные вагоны когда-то второго класса. Так зовут арестантские вагоны с решетками по той самой причине, по какой центральные части России на Колыме зовут "материком", хотя Колыма и не остров, а область на Чукотском полуострове. Сахалинский лексикон, отправка только пароходами,

многодневный морской путь – все это создает иллюзию острова. Колыма – это остров. С нее возвращаются на "материк", на "большую землю". И "материк" и "большая земля" – это словарь повседневности: журнальный, газетный, книжный.

Точно так же за арестантским вагоном с решетками сохранилось название "столыпинский". Хотя арестантский вагон издания 1907 года совсем не таков.

Так вот, в списке теплушки номер сорок – тридцать шесть заключенных. Норма! Этап шел без перегрузки. В списке для конвоя, написанном от руки, была графа "специальность", и какая-то запись привлекла внимание учетчика. "Синеблузник"! Что это за специальность? Не слесарь, не бухгалтер, не культработник, а "синеблузник". Было видно, что этим ответом на лагерную анкету, на тюремный вопрос арестант хочет утвердить что-то важное ему. Или обратить чье-то внимание.

Список был такой.

Гуревич Борис Семенович (Южанин), ст. ПШ (литер: "Подозрение в шпионаже", срок 3 года – немыслим для такой статьи даже по тем временам!), год рождения 1900 (ровесник века!), специальность "синеблузник".

Гуревича привели в лагерную контору. Смуглый, стриженый, большеголовый человек с грязной смуглой кожей. Разбитое пенсне без стекол было укреплено на носу. Какой-то веревочкой привязано еще и к шее. Рубашки ни нижней, ни верхней не было, белья не было тоже. Только синие тесные хлопчатобумажные штаны без пуговиц, явно чужие, явно сменка. Все обобрали блатари, конечно. Играли на чужие вещи, на тряпки "фраера". Грязные босые ноги с отросшими ногтями и жалкая, доверчивая какая-то улыбка на лице, в крупных, коричневатых, хорошо мне знакомых глазах. Это был Борис Южанин, знаменитый руководитель знаменитой Синей блузы, пятилетие которой праздновалось

в Большом театре и недалеко от меня сидел Южанин, окруженный столпами синеблузного движения – Третьяков, Маяковский, Фореггер, Юткевич, Тенин, Кирсанов – авторы и сотрудники журнала "Синяя блуза" – глядели идеологу и вождю движения Борису Южанину в рот и ловили каждое его слово.

А ловить было что: Южанин беспрерывно что-то говорил, чем-то убеждал, к чему-то вел.

Сейчас Синяя блуза забыта. В начале двадцатых годов на нее возлагалось много надежд. Не только как новая театральная форма, которую несла миру революция Октябрьская, перерастающая в мировую.

Синеблузники и Мейерхольда считали недостаточно левым и предлагали новую форму не только театрального действия, Живой газеты – как называл свою Синюю блузу Южанин, но и жизненной философии.

Синяя блуза по мысли вождя движения была неким орденом. Эстетика, поставленная на службу революции, – приводила и к этическим победам.

В первых номерах нового литературного сборника журнала "Синяя блуза" (их вышло очень много за пять-шесть лет) авторы, как бы знамениты они не были (Маяковский, Третьяков, Юткевич, Кирсанов, Арго, Асеев) не подписывались вовсе – синеблузный принцип целомудренности. По тем же причинам синеблузники не курили, женщины – не красили губ.

Единственная подпись: редактор Борис Южанин.

Гонорары поступали в фонд "Синей блузы" – на дальнейшее развитие и движение. Синяя блуза по мысли Бориса Южанина не должна была быть профессиональной. Каждое учреждение, каждая фабрика и завод должны иметь свои коллективы. Самодеятельные коллективы.

Синеблузные тексты требовали простых, известных мелодий. Голосов не требовали никаких. Но если находился

голос, талант – тем лучше. Синеблузник переводился в Показательный коллектив. Те состояли из профессионалов – временно – по мысли Южанина.

Южанин выступил с отрицанием старого театрального искусства. Выступил резко против Художественного и Малого театра, против самого принципа их работы.

Театры долго не могли приспособиться к новой власти. Южанин заговорил от ее имени, обещая новое искусство.

В этом новом искусстве главное место отводилось театру разума, театру лозунга, политическому театру.

Синяя блуза резко выступала против театра переживаний.

Все то, что называлось "Театром Брехта", было открыто и показано Южаниным. Тут дело не в приоритете. О связи Брехта с Южаниным я еще скажу. Тут дело в том, что, найдя эмпирическим путем целый ряд художественных принципов новых, Южанин не сумел их обобщить, развить, принести на международный форум. Это сделал Брехт – честь ему и хвала!

Первая "Синяя блуза" вышла на сцену клубную, комсомольскую сцену в 1921 году. Через пять лет в России было четыреста коллективов. В качестве основной базы с круглосуточными постановками "Синяя блуза" получила кинотеатр "Ша-нуар" на Страстной площади, тот самый, что сломали летом 1967 года.

Черное знамя анархистов еще висело на доме по соседству – на клубе анархистов на Тверской, где еще недавно выступали Мамонт Дальский, Иуда Гроссман-Рощин, Дмитрий Фурманов и другие апостолы анархизма. Способный журналист Ярослав Гамза принял участие в полемике о путях и судьбах нового советского театра, новых театральных форм.

Центральных коллективов было восемь: "Показательный", "Образцовый", "Ударный", "Основной" – так они назывались. Южанин хранил равенство.

В 1923 году на правах отдельного коллектива в "Синюю блузу" вошел театр Фореггера.

И вот при этом росте, при этом движении вширь и вглубь – Синей блузе чего-то не хватало.

Присоединение театра Фореггера было последней победой "Синей блузы".

Внезапно выяснилось, что "Синей блузе" нечего сказать, что театральное "левое" более тяготеет к театру Мейерхольда, к театру Революции, к Камерному театру. Эти театры сохранили и свою энергию, выдумку, сохранили свои кадры – гораздо квалифицированнее "показательных" коллективов Южанина. Киноактер Борис Тенин и Клавдия Коренева, перешедшие позднее в "Театр для детей" – единственные имена, рожденные в "Синей блузе". Юткевич стал работать в кино. Третьяков и Кирсанов – в "Новом Лефе". Синеблузный композитор Константин Листов, и тот изменил живой газете.

Выяснилось также, что академические театры оправились от потрясения и согласны и даже очень согласны обслуживать новую власть.

Зрители вернулись в залы с занавесом, где нарисована была чайка, молодежь ломилась в студии старых театральных школ.

Синей блузе не было места. И как-то стало ясно, что все это – блеф, мираж. Что у искусства есть свои надежные пути.

Но это было в конце, а в начале был сплошной триумф.

На сцену выходили одетые в синие блузы актеры – парадом-антрэ начинали спектакль. Эти парады-антрэ были одинаковыми – как спортивный марш перед футбольными радиопередачами:

Мы – синеблузники,
Мы – профсоюзники.
Мы не баяны-соловьи.

Мы только гайки
Великой спайки
Одной трудящейся семьи.

Лефовец С.М. Третьяков был большим мастером на эти "гайки и спайки". Редактор "Синей блузы" тоже написал несколько ораторий, скетчей, сценок.

После парада разыгрывали несколько сценок. Актеры без грима. В "прозодежде", как после скажут – "без костюмов" – только аппликации-символы. Аппликации тоже вызвали бурную дискуссию – допустимо ли? достойно ли?

Все, что умели,
Мы все пропели,
Мы вам пропели все, что могли,
И безусловно, достигли цели,
Если мы пользу вам принесли.

Этот куцый мир газетных передовиц, пересказанный на театральном жаргоне, имел успех необыкновенный. Новое искусство пролетариата.

"Синяя блуза" поехала в Германию, Китай, Эстонию. Два коллектива во главе с самим Южаниным. В двадцать четвертом, кажется, году. В рабочие клубы Веймарской республики. Здесь Южанин встретился с Брехтом и ошеломил Брехта новинкой своих идей. Ошеломил – это собственное выражение Южанина. Южанин встречался с Брехтом так часто, как можно было в те времена, полные подозрений, взаимной слежки.

Первая поездка "ударников"-рабочих за границу, кругосветное путешествие относится к 1933 году. Там на каждого ударника был один политкомиссар.

С Южаниным политкомиссаров ездило тоже немало. Андреева Мария Федоровна устраивала эти поездки.

После Германии "Синяя блуза" двинулась в Швейцарию и, изнемогая от триумфа, вернулась на родину.

Через год Южанин повез в Германию еще два синеблузных коллектива – тех, которые не участвовали в первой поездке.

Триумф тот же. Снова встречи с Брехтом. Возвращение в Москву.

Коллективы готовятся к поездке в Америку, в Японию.

У Южанина было одно качество, мешавшее ему как вождю движения – он был плохой оратор. Не умел подготовить выступление, сразить противника в дискуссии, в докладе. А тогда такие дискуссии были в большой моде – совещание за совещанием, диспут за диспутом. Южанин был человек очень скромный, даже пугливый. И в то же время никак не хотел сыграть вторую роль, отойти в тень, в сторону.

Закулисная борьба требует много выдумки, много энергии. Этих качеств у Южанина не было. Южанин был поэтом, а не политиком. Поэт – догматик, поэт – фанатик своего синеблузного дела.

. . . . . .

Грязный оборванец стоял передо мной. Босые грязные ноги никак не могли найти места – Борис Южанин переступал ногами.

– Блатные? – спросил я, кивая на его голые плечи.

– Да, блатные. Мне так еще лучше, легче. Загорел я в дороге.

. . . . . .

В высших сферах уже готовились распоряжения и приказы о синеблузниках – сократить им средства, снять с дотации. Уже и на театр "Ша-нуар" объявились претенденты. Теоретическая часть синеблузных манифестов становилась все бледнее и бледнее.

Южанин не привел, не сумел привести свой театр к мировой революции. Да и сама эта перспектива к середине двадцатых годов потускнела.

Любовь к синеблузным идеалам! Этого казалось мало. Любовь – это ответственность, это споры на секции Моссовета, это докладные записки, – буря в стакане воды, беседы с теряющими заработок актерами. Принципиальный вопрос – так кто же Синяя блуза – профессионалы или самодеятельность?

Идеолог и руководитель "Синей блузы" разрубил все эти вопросы, все эти узлы – личные и общественные, теоретические и практические одним ударом меча.

Борис Южанин бежал за границу.

Ребенок, он бежал неудачно. Все свои деньги он вручил какому-то матросу в Батуми, а матрос отвел его в ОГПУ. В тюрьме Южанин сидел долго.

Московское следствие дало герою новой театральной формы литер "ПШ". Подозрение в шпионаже и срок три года концентрационных лагерей.

"То, что я увидел за границей – было так непохоже на то, что писали в наших газетах. Мне не захотелось быть больше устной газетой. Мне захотелось настоящей жизни".

Я подружился с Южаниным. Я смог оказать ему ряд небольших услуг – вроде белья или бани, но скоро его вызвали в управление, на Вижайху, где был центр УВЛОНА – работать по специальности.

Идеолог и создатель синеблузного движения стал руководителем "Синей блузы" в Вишерских концентрационных лагерях, арестантской живой газеты. Эффектный конец!

Для этой лагерной "Синей блузы" я и написал в сотрудничестве с Борисом Южаниным несколько скетчей, ораторий, куплетов.

Южанин стал редактором журнала "Новая Вишера". В Ленинградской библиотеке можно найти экземпляры этого журнала. Имя Южанина сохранено для потомства. Великое дело Гутенберга, даже если типографский станок заменен стеклографом.

Один из принципов "Синей блузы" – использование любого текста, любого сюжета.

Если полезно – и слова и музыка могут быть любых авторов. Здесь нет литературных краж. Здесь плагиат – принципиальный.

В тридцать первом году Южанина увезли в Москву. Пересмотр дела? Кто знает?

Ряд лет Южанин жил в Александрове – стало быть, дело не очень пересмотрели.

В пятьдесят седьмом году я случайно узнал, что Южанин жив – Москва двадцатых годов не могла его не знать и не помнить.

Я написал ему письмо, предложил рассказать о "Синей блузе" москвичам конца пятидесятых годов. Это предложение вызвало резкий протест главного редактора журнала – тот о "Синей блузе" и слыхом не слыхал. Я не имел возможности подтвердить собственное же предложение и выругал себя за торопливость. А потом я заболел, и южанинское письмо пятьдесят седьмого года так и лежит у меня в столе.

# # #

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

С тридцатого года пошла эта мода: продавать инженеров. Лагерь имел доход немалый от продажи на сторону носителей технических знаний. Лагерь получал полную ставку и из нее вычитывалось питание арестантов, одежда, конвой, следовательский аппарат, даже ГУЛаг. Но после вычета всех коммунальных расходов оставалась приличная сумма. Эта сумма вовсе не поступала в доход государства, и заключенный получал вполне произвольные "премиальные", которых хватало иногда на пачку папирос "Пушка", а иногда и на несколько пачек. Лагерное начальство поумнее добивалось от Москвы разрешения платить пусть малый, но определенный процент заработка, отдавать эту сумму в руки арестанту. Но разрешения на такой расчет от Москвы не давалось, и инженерам платили произвольно. Как, впрочем, и землекопам и плотникам. Правительство почему-то боялось даже иллюзии "зарплаты", превращая ее в "награду", в "премию" и называя эту зарплату премией.

В числе первых инженеров-заключенных, проданных лагерем на строительство, в нашем лагерном отделении был Виктор Петрович Финдикаки, сосед мой по бараку.

Виктор Петрович Финдикаки – срок 5 лет, статья пятьдесят восемь, пункты семь и одиннадцать, был первым русским инженером, поставившим – это было на Украине – прокатку цветных металлов. Его работы по специальности хорошо известны в русской технике, и когда Виктору Петровичу предложил новый хозяин – Березниковский

химкомбинат – отредактировать учебную книжку по специальности, Виктор Петрович взялся за эту работу с энтузиазмом, но скоро погрустнел, и я с трудом добился от Виктора Петровича причины его огорчения.

Виктор Петрович без тени улыбки объяснил, что в редактируемом им учебнике встречается слово "вредит" – я везде вычеркнул это слово. Заменил словом "препятствует". Теперь эти результаты у начальства.

Правка Виктора Петровича не встретила возражений у начальства, и Виктор Петрович остался на инженерной должности.

Пустяк, конечно. Но для Виктора Петровича это было дело серьезное, принципиальное, а почему – сейчас объясню.

Виктор Петрович был человеком "расколовшимся", как говорят блатные и лагерные начальники. На своем процессе он "помогал следствию", участвовал в очных ставках, был запуган, сбит с ног и растоптан. И кажется, не только в переносном смысле. Виктор Петрович прошел несколько "конвейеров", как это стало называться повсюду через четырепять лет.

Начальник производственного лагеря Павел Петрович Миллер знал Финдикаки по тюрьме. И хотя сам Миллер выдержал и конвейеры и плюхи – получил десять лет, он как-то безразлично относился к проступку Виктора Петровича. Сам же Виктор Петрович мучился своим предательством ужасно. По всем этим вредительским делам были расстрелы. Понемножку, правда, но расстреливали уже. Приехал в лагерь шахтинец Боярышников и тоже, как будто, недружелюбно беседовал с Финдикаки.

Сознание какого-то провала, нравственного падения безмерного не оставляло Финдикаки долго. Виктор Петрович (его койка в бараке стояла рядом с моей) не хотел даже работать на какой-нибудь блатной, привилегированной должности, бригадиром, десятником или помощником самого Павла Петровича Миллера.

Финдикаки был человек физически крепкий, невысок, широкоплеч. Помню, немного он удивил Миллера, когда попросился в бригаду грузчиков на Содовый завод. Бригада эта, не имея вольного хождения, вызывалась из лагеря на Содовый завод в любое время суток для погрузки или разгрузки вагонов. Быстрота работы была тем преимуществом, которое, из-за угрозы железнодорожного штрафа администрация Содового завода ценила очень высоко. Миллер посоветовал инженеру поговорить с бригадиром грузчиков. Юдин, бригадир, жил тут же в бараке и расхохотался, выслушав просьбу Финдикаки. Природный пахан Юдин не любил белоручек, инженеров, вообще ученых. Но, уступая желанию Миллера, взял Финдикаки в свою бригаду.

С той поры мы встречались с Финдикаки редко, хотя и спали рядом.

Прошло какое-то время, и в Химстрой понадобился "умный раб", ученый раб. Понадобился инженерный мозг. Есть работа для Финдикаки. Но Виктор Петрович отказался. Нет, я не хочу возвращаться в мир, где мне каждое слово ненавистно, каждый технический термин, будто язык стукачей, лексикон предателей. Миллер пожал плечами, и Финдикаки продолжал работать грузчиком.

Но скоро Финдикаки немножко остыл, судебная травма стала немножко сглаживаться. В лагерь прибыли другие инженеры, "расколотые". К ним Виктор приглядывался. Живут и не умирают ни от собственного стыда, ни от презрения окружающих. Да и бойкота никакого нет – люди как люди. И Виктор Петрович стал немножко жалеть о своем капризе, о своем мальчишестве.

Снова вышла инженерная должность на строительстве, и Миллер – через него шло ходатайство начальнику – отказал нескольким только прибывшим инженерам. Виктор Петрович был спрошен еще раз и согласился. Но – назначение вызвало резкий, дикий протест бригадира грузчиков.

Для какой-то конторской работы у меня снимают лучшего грузчика. Нет, Павел Петрович. Блат поломан. Я до Берзина дойду, а всех вас разоблачу.

Началось действительно следствие о вредительстве Миллера, но, к счастью, кто-то из приезжего начальства сделал внушение бригадиру грузчиков. И Виктор Петрович Финдикаки вернулся на инженерную работу.

По-прежнему мы стали засыпать вместе – наши топчаны стояли рядом. Снова я слышал, как Финдикаки шептал перед сном – как молитву: жизнь – это говно. Говенная штука. Пять лет. – Ни тон, ни текст заклинания Виктора Петровича не изменились.

###

ТРОПА

В тайге у меня была тропа чудесная. Сам я ее проложил, летом, когда запасал дрова на зиму. Сушняка вокруг избы было много – конусообразные лиственницы, серые, как из папье-маше, были натыканы в болоте, будто колья. Избушка стояла на пригорке, окруженная стланниковыми кустами с зелеными хвойными кисточками – к осени набухшие орехами шишки тянули ветви к земле. Сквозь эти стланниковые заросли и проходила к болоту тропа, а болото когда-то не было болотом, – на нем рос лес, – а потом корни деревьев сгнили от воды и деревья умерли – давно, давно. Живой лес отошел в сторону по подножью горы к ручью. Дорога, по которой ходили автомашины и люди, легла с другой стороны пригорка, повыше по горному склону.

Первые дни мне было жаль топтать жирные красные ландыши, ирисы, похожие на лиловых огромных бабочек и лепестками и их узором, огромные толстые синие подснежники неприятно похрустывали под ногой. У цветов, как и у всех цветов Крайнего Севера, запаха не было – когда-то я ловил себя на автоматизме движения – сорвешь букет и поднимаешь его к ноздрям. Но потом я отучился. Утром я рассматривал, что случилось за ночь на моей тропе – вот распрямился ландыш, раздавленный моим сапогом вчера, подался в сторону, но все же ожил. А другой ландыш раздавлен уже навсегда – и лежит, как рухнувший телеграфных столб с фарфоровыми изоляторами, и разорванные паутинки с него свисают, как сбитые провода.

А потом тропа вытопталась, и я перестал замечать, что поперек моего пути ложились ветви стланика, те, которые хлестали мне лицо, я обломал и перестал замечать надломы. По сторонам тропки стояли молодые лиственницы, лет по сто — они при мне зеленели, при мне осыпали мелкую хвою на тропку. Тропа с каждым днем все темнела и в конце концов стала обыкновенный темно-серой горной тропой. Никто, кроме меня, по ней не ходил. Прыгали на нее синие белки, да следы египетской клинописи куропаток видал я на ней много раз, и треугольный заячий след встречался, но ведь птица и зверь — не в счет.

Я по этой собственной тропе ходил почти три года. На ней хорошо писались стихи. Бывало — вернешься из поездки, соберешься на тропу и непременно какую-нибудь строфу выходишь на этой тропке. Я привык к тропе, стал бывать на ней, как в лесном рабочем кабинете. Помню, как в предзимнюю пору холодом, льдом уже схватывало грязь на тропе и грязь будто засахаривалась, как варенье. И двумя осенями перед снегом я приходил на эту тропу — оставить глубокий след, чтоб на моих глазах затвердел он на всю зиму. И весной, когда снег стаял, я видел мои прошлогодние метки, ступал в старые следы, и стихи писались снова легко. Зимой, конечно, этот кабинет мой пустовал — мороз не дает думать — писать можно только в тепле. А летом я знал все наперечет, все было гораздо пестрей, чем зимой, на этой волшебной тропе — стланик и лиственницы, и кусты шиповника неизменно приводили какое-нибудь стихотворение, и если не вспоминались чужие стихи подходящего настроения, то бормотались свои, которые я, вернувшись в избу, записывал.

А на третье лето по моей тропе прошел человек. Меня в то время не было дома, я не знаю, был ли это какой-нибудь странствующий геолог или пеший горный почтальон или охотник — человек оставил следы тяжелых сапог.

С той поры на этой тропе стихи не писались. Чужой след был оставлен весной, и за все лето я не написал на этой тропе ни строчки. А к зиме меня перевели в другое место, да я и не жалел – тропа была безнадежно испорчена.

Вот об этой тропе много раз пытался я написать стихотворение, но так и не сумел написать.

###

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ

Машина гудела, гудела, гудела... Вызывала начальника больницы, объявляла тревогу... А гости уже поднимались по лестничным маршам. На них были напялены белые халаты, и плечи халатов разрывались погонами из-за слишком тесной военным гостям больничной формы.

Опережая всех на две ступеньки, шагал высокий седой человек, фамилию которого в больнице знали все, но в лицо не видел никто.

Было воскресенье, вольнонаемное воскресенье, начальник больницы играл на бильярде с врачами, обыгрывая их всех – начальнику все проигрывали.

Начальник сразу разгадал ревущий гудок и вытер мел со своих потных пальцев. Послал курьера – сказать, что идет, сейчас придет.

Но гости не ждали.

– Начнем с хирургического... – В хирургическом лежало человек двести, две большие палаты человек по восемьдесят, одна – чистой хирургии, другая гнойной; в чистой все закрытые переломы, все вывихи. И – послеоперационные маленькие палаты. И – палата умирающих больных гнойного отделения – сепсисы, гангрены.

– Где хирург?

– Уехал на поселок. К сыну. Сын у него там в школе учится.

– А дежурный хирург?

– Дежурный сейчас придет. – Но дежурный хирург Утробин, которого по всей больнице дразнили Угробиным, был пьян и на зов высокого начальства не явился.

По хирургическому высокое начальство сопровождал старший фельдшер из заключенных.

– Нет, нам твои объяснения, твои истории болезни не понадобятся. Мы знаем, как они пишутся, – сказал высокий начальник фельдшеру, входя в большую палату и закрывая за собой дверь. – И начальника больницы пока сюда не пускайте.

Один из адъютантов, майор, занял пост у двери в палату.

– Слушайте, – сказал седой начальник, выходя на середину палаты и обводя рукой койки, стоявшие в два ряда вдоль стен, – слушайте меня. Я новый начальник политуправления Дальстроя. У кого есть переломы, ушибы, которые вы получили в забое или в бараке от десятников, от бригадиров, словом, в результате побоев, подайте голос. Мы приехали расследовать травматизм. Травматизм ужасен. Но мы покончим с этим. Все, кто получил такие травмы, расскажите моему адъютанту. Майор, запишите! – Майор развернул блокнот, достал вечное перо.

– Ну!

– А отморожения, гражданин начальник?

– Отморожения не надо. Только побои.

Я был фельдшером этой палаты. Из восьмидесяти больных – семьдесят были с такими травмами – и в историях болезни все это было записано. Но ни один больной не откликнулся на этот призыв начальства. Никто не верил седому начальнику. Пожалуйся, а потом с тобой сочтутся, не отходя от койки. А так, в благодарность за смирный нрав, за благоразумие подержат в больнице лишний день. Молчать было гораздо выгоднее.

– Вот я – мне руку сломал боец!

– Боец? Разве у нас бойцы бьют заключенных? Наверное, не боец охраны, а какой-нибудь бригадир.

– Да, наверное бригадир.

– Вот видите, какая у вас плохая память. А ведь такой случай, как мой приезд – редкость. Я – высший контроль. Мы не позволим бить. Вообще с грубостью, с хулиганством, с матерщиной надо кончать. Я уже выступал на совещании хозяйственного актива. Говорил – если начальник Дальстроя невежлив в своих беседах с начальником управления, то начальник горного управления, распекая начальников приисков, допускал оскорбительную матерную брань, то как должен говорить начальник прииска с начальниками участков. Это – сплошной мат. Но еще это материковый мат. Начальник участка распекает прорабов, бригадиров и мастеров уже на чисто колымском блатном мате. Что же остается делать мастеру, бригадиру? Брать палку и лупить работяг. Так или не так?

– Так, товарищ начальник, – сказал майор.

– На той же конференции выступал Никишов. Говорит, вы – люди новые, Колымы не знаете, здесь условия особые, мораль особая. А я ему сказал: мы приехали сюда работать, и мы будем работать, но мы будем работать не так, как говорит Никишов, а как говорит товарищ Сталин.

– Так, товарищ начальник, – сказал майор.

Больные слышали, что дело дошло до Сталина, и вовсе примолкли.

За дверью толклись заведующие отделениями, их уже вызвали с квартир, стоял начальник больницы, дожидаясь конца речи высокого начальства.

– Снимают Никишова, что ли, – предположил Байков, заведующий вторым терапевтическим отделением, но на него шикнули и он умолк.

Начальник политотдела вышел из палаты и поздоровался с врачами за руку.

– Перекусить прошу, – сказал начальник больницы. Обед на столе.

– Нет, нет, – начальник политотдела посмотрел на часы. – Надо ехать, к ночи попасть в Западное, в Сусуман. Завтра совещание. А впрочем... Только не обедать. А вот что. Дайте портфель. – Седой начальник взял тяжелый портфель из рук майора.

– Вы глюкозу мне можете сделать?

– Глюкозу? – сказал начальник больницы, не понимая.

– Ну да, глюкозу. Укол сделать внутривенный. Я ведь не пью ничего спиртного с детства... Не курю. Но через день делаю глюкозу. Двадцать кубиков глюкозы внутривенно. Мне мой врач еще в Москве посоветовал. И что вы думаете. Лучшее тонизирующее. Лучше всяких женьшеней, всяких тестостеронов. Я всегда вожу глюкозу с собой. А шприц не вожу – уколы мне делают в любой больнице. Вот сделайте мне укол.

– Я не умею, – сказал начальник больницы. – Я лучше жгут подержу. Вот дежурный хирург – тому и книги в руки.

– Нет, – сказал дежурный хирург, – я тоже не умею. Это, товарищ начальник, такие уколы делает не всякий врач.

– Ну, фельдшер.

– У нас нет вольнонаемных фельдшеров.

– А этот?

– Этот из зэка.

– Странно. Ну, все равно. Ты можешь сделать?

– Могу, – сказал я.

– Кипяти шприц.

Я вскипятил шприц, остудил. Седой начальник вынул из портфеля коробку с глюкозой, и начальник больницы облил руки спиртом и вместе с парторгом отбил стекло и всосал раствор глюкозы в шприц. Начальник больницы надел на шприц иглу, передал мне шприц в руки и, взяв резиновый

жгут, затянул руку высокого начальника; я ввел глюкозу, придавил ваткой место укола.

– У меня вены, как у грузчика, – милостиво пошутил начальник со мной.

Я промолчал.

– Ну, отдохнул – пора и ехать. – Седой начальник встал.

– А в терапевтические? – сказал начальник больницы, боясь, что если гости вернутся для осмотра терапевтических больных, то ему будет обязательно выговор за то, что вовремя не напомнил.

– В терапевтических нам нечего делать, – сказал начальник политуправления. – У нас целевая поездка.

– А обедать?

– Никаких обедов. Дело прежде всего.

Машина загудела, и автомобиль начальника политуправления исчез в морозной мгле.

# # #

ГОРОД НА ГОРЕ

В этот город на горе, второй и последний раз в жизни меня привезли летом сорок пятого года. Из этого города меня привезли на суд в трибунал два года тому назад, дали десять лет, и я скитался по витаминным, обещающим смерть командировкам, щипал стланник, лежал в больнице, снова работал на "командировках" и с участка "Ключ алмазный", где условия были невыносимы — бежал, был задержан и отдан под следствие. Новый срок мой только что начинался — следователь рассудил, что выгоды государству будет немного от нового следствия, нового приговора, нового начала срока, нового счисления времени арестантской жизни. Меморандум говорил о штрафном прииске, о спецзоне, где я должен находиться отныне и до скончания века. Но я не хотел сказать: аминь.

В лагерях существует правило — не посылать, не "этапировать" вновь судимых заключенных на те прииски, где они раньше работали. В этом есть великий практический смысл. Государство обеспечивает жизнь своим сексотам, своим стукачам, клятвопреступникам и лжесвидетелям. Это — их правовой минимум.

Но со мной поступили иначе — и не только из-за лени следователя. Нет, герой очных ставок, свидетели моего прошлого дела уже были увезены из "спецзоны". И бригадира Нестеренко, и заместителя Заславского, и неизвестного мне Шайлевича уже не было на Джелгале. Их, как исправившихся, доказавших преданность, уже увезли из спецзоны.

Стало быть, стукачам и лжесвидетелям государство честно платило за их работу. Моя кровь, мой новый срок были этой ценой, этой платой.

На допрос меня больше не вызывали, и я сидел не без удовольствия в туго набитой следственной камере Северного управления. Что со мной сделают, я не знал, будет ли мой побег сочтен самовольной отлучкой – проступком неизмеримо меньшим, чем побег?

Недели через три меня вызвали и отвели в пересыльную камеру, где у окна сидел человек в плаще, в хороших сапогах, в крепкой, почти новой телогрейке. Меня он "срисовал", как говорят блатные, сразу понял, что я самый обыкновенный доходяга, не имеющий доступа в мир моего соседа. И я "срисовал" его тоже; как-никак, а я был не просто "фраер", а "битый фраер". Передо мной был один из блатарей, которого, рассудил я, везут куда-то вместе со мной.

Везли нас в спецзону, на знакомую мне Джелгалу.

Через час двери камеры нашей раскрылись.

– Кто Иван-Грек?

– Это – я.

– Тебе передача. – Боец вручил Ивану сверток, и блатарь неторопливо положил сверток на нары.

– Скоро, что ли?

– Машину подают.

Через несколько часов, газуя, пыхтя, машина доползла до Джелгалы, до вахты.

Лагерный староста вышел вперед и просмотрел наши документы – Иван-Грека и мои.

Это была та самая зона, где шли разводы "без последнего", где овчарки выгоняли на моих глазах всех поголовно, здоровых и больных, к вахте, где развод на работы строился за вахтой, у ворот зоны, откуда шла крутая дорога вниз, летящая дорога сквозь тайгу. Лагерь стоял на горе, а работы велись внизу, и это доказывало, что нет предела человеческой

жестокости. На площадке перед вахтой два надзирателя раскачивали, взяв за руки и за ноги, каждого отказчика и бросали вниз. Арестант катился метров триста, падал, внизу его встречал боец, и если отказчик не вставал, не шел под тычками, ударами, его привязывали к волокуше, и лошади тащили отказчика на работу – до забоев было не меньше километра. Сцену эту я видел каждодневно, пока не отправили меня с Джелгалы. Сейчас я возвратился.

Не то, что скидывали сверху по горе – так была задумана спецзона – было самым тяжелым. Не то, что лошадь волокла работягу на работу. Страшен был конец работы – ибо после изнурительного труда на морозе, после целого рабочего дня надо ползти вверх, цепляясь за ветки, за сучья, за пеньки. Ползти, да еще тащить дрова охране. Тащить дрова в самый лагерь, как говорило начальство, "для самих себя".

Джелгала была предприятием серьезным. Разумеется, тут были бригады-стахановцы, вроде бригады Маргаряна, была бригада похуже нашей, были и блатари. Здесь, как и на всех приисках в ОЛП'ах первой категории, была вахта с надписью "Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства".

Разумеется, тут были доносы, вши, следствия, допросы. В Джелгалинской санчасти уже не было доктора Мохнача, который по требованию следователя, видя меня каждый день на приемах в амбулатории несколько месяцев, по требованию следователя, написал в моем присутствии, зэк, имя рек, здоров и никогда с жалобами в медчасть Джелгалы не обращался.

А следователь Федоров хохотал и говорил мне: назовите мне десять фамилий из лагерников – любых по вашему выбору. Я пропущу их сквозь свой кабинет и они все покажут против вас. Это было истинной правдой, и я знал это не хуже Федорова...

Сейчас Федорова на Джелгале не было – перевели в другое место. Да и Мохнача не было.

А кто был в санчасти Джелгалы? Доктор Ямпольский, вольнонаемный, бывший зэка.

Доктор Ямпольский не был даже фельдшером. Но на прииске Спокойном, где мы с ним впервые встретились, лечил больных только марганцовкой и иодом, и любой профессор не дал бы прописи, которая отличалась бы от прописи доктора Ямпольского... Высшее начальство, зная, что медикаментов нет, и не требовало многого. Борьба со вшивостью – безнадежная и бесполезная, формальные визы представителей санчасти в актах, общий "надзор" – вот и все, что требовалось от Ямпольского высшим начальством. Парадокс был в том, что ни за что не отвечая и никого не леча, Ямпольский постепенно копил опыт и ценился не меньше любого колымского врача.

У меня с ним было столкновение особого рода. Главный врач той больницы, где я лежал, прислал письмо Ямпольскому с просьбой помочь мне попасть в больницу. Ямпольский не нашел ничего лучшего, как передать это письмо начальнику лагеря, донести, так сказать. Но Емельянов не понял истинного намерения Ямпольского и – встретив меня – сказал: отправим, отправим. И меня отправили. Сейчас мы встретились снова. На первом же приеме Ямпольский заявил, что освобождать от работы меня не будет, что он разоблачит меня и выведет на чистую воду.

Два года назад я въезжал сюда в черном военном этапе – по списку господина Карякина, начальника участка Аркагалинской шахты. Этап жертв собирали по спискам по всем управлениям, всем приискам – и везли в очередной колымский Освенцим, колымские спецзоны, лагеря уничтожения после тридцать восьмого года, когда вся Колыма была таким лагерем уничтожения.

Два года назад отсюда меня увели на суд – восемнадцать километров – тайгой, пустяк для бойцов – они спешили

в кино, и совсем не пустяк для человека, просидевшего месяц в слепом темном карцере на кружке воды и "трехсотке" хлеба.

И карцер я нашел, вернее след от карцера, ибо давно лагерный изолятор был новый – дело росло. Я вспомнил, как заведующий изолятором боец охраны боялся выпустить меня мыть посуду на солнце – на проток, не речки, а деревянного желоба с бутары – все равно это было лето, солнце, вода. Заведующий изолятором боялся пускать меня мыть посуду, а мыть посуду самому было не то что лень, а просто позорно для заведующего изолятором. Не по должности. А арестант, сидевший без вывода, был только один – я. Другие штрафники ходили – их-то посуду и надо было мыть. Я и мыл охотно – за воздух, за солнце, за супчик. Кто знает, не будь единственной прогулки – дошел ли я тогда на суд, вытерпел ли все побои, которые мне достались.

Старый изолятор был разобран, и только следы его стен, выгоревшие ямы от печей остались, и я сел в траву, вспоминая свой суд, свой "процесс".

Груда старых железок, связка, которая легко распалась, и, перебирая железки, я вдруг увидел свой нож, маленькую финку, подаренную мне когда-то больничным фельдшером на дорогу. Нож не очень был мне нужен в лагере – я легко обходился и без ножа. Но каждый лагерник гордится таким имуществом. С обеих сторон лезвия была крестообразная метка напильником. Этот нож отобрали у меня при аресте два года назад. И вот он снова у меня в руках. Я положил нож в груду ржавых железок.

Два года назад я въезжал сюда с Варпаховским – он давно был в Магадане, с Заславским – он давно был в Сусумане, а я? Я приезжаю в спецзону вторично.

– Ивана-Грека увели.

– Подойди.

Я уже знал, в чем дело. Хлястик на моей телогрейке, отложной воротник на моей телогрейке, бумажный вязаный шарф, широкий полутораметровый шарф, который я тщетно старался скрыть, привлек опытное око лагерного старосты.

– Расстегнись!

Я расстегнулся.

– Сменяем. – Староста показал на шарф.

– Нет.

– Смотри, хорошо дадим.

– Нет.

– Потом будет поздно.

– Нет.

Началась правильная охота за моим шарфом, но я берег его хорошо, привязывал на себя во время бани, никогда не снимал. В шарфе скоро завелись вши, но и эти мученья я был готов перенести, лишь бы сохранить шарф. Иногда ночами я снимал шарф, чтобы отдохнуть от укусов вшей, и видел на свету, как шарф шевелится, движется. Так много было там вшей. Ночью как-то было невтерпеж, растопили печку, было непривычно жарко, и я снял шарф и положил его рядом с собой на нары. В то же время шарф исчез, и исчез навсегда. Через неделю, выходя на развод и готовясь упасть в руки надзирателей и лететь вниз с горы, – я увидел старосту, стоящего у ворот вахты. Шея старосты была закутана в мой шарф. Разумеется, шарф был выстиран, прокипячен, обеззаражен. Староста даже не взглянул на меня. Да и я поглядел на свой шарф только один раз. На две недели хватило меня, моей бдительной борьбы. Наверно, хлеба староста заплатит вору меньше, чем дал бы мне в день приезда. Кто знает. Я об этом не думал. Стало даже легко, и укусы на шее стали подживать, и спать я стал лучше.

И все-таки я никогда не забуду этот шарф, которым я владел так мало.

В моей лагерной жизни почти не было безымянных рук, поддержавших в метель, в бурю, спасших мне жизнь безымянных товарищей. Но я помню все куски хлеба, которые я съел из чужих, не казенных рук, все махорочные папиросы. Много раз попадал я в больницу, девять лет жил от больницы до забоя ни на что не надеясь, но и не пренебрегая ничьей милостыней. Много раз уезжал я из больницы, чтобы на первой же пересылке меня раздели блатари или лагерное начальство.

Спецзона разрослась; вахта, изолятор, "простреливаемые" с караульных вышек, были новыми. Новыми были и вышки, но столовая была все та же, где в мое время, два года назад, бывший министр Кривицкий и бывший журналист Заславский развлекались на глазах у всех бригад страшным лагерным развлечением. Подбрасывали хлеб – пайку-трехсотку – оставляли на столе без присмотра, как ничью, как пайку дурака, который "покинул" свой хлеб, и кто-нибудь из доходяг, полусумасшедших от голода, на эту пайку бросался, хватал ее со стола, уносил в темный угол и цинготными зубами, оставляющими следы крови на хлебе, пытался этот черный хлеб проглотить. Но бывший министр был и бывший врач – знал, что голодный не проглотит хлеб мгновенно, зубов у него не хватит, и давал спектаклю развернуться, чтобы не было пути назад, чтобы доказательства были убедительней.

Толпа озверелых работяг набрасывалась на вора, пойманного "на живца". Каждый считал своим долгом – ударить, наказать за преступление – и хоть удары доходяг не могли сломать костей, но душу вышибали.

Это вполне человеческое бессердечие. Черта, которая показывает, как далеко ушел человек от зверя.

Избитый, окровавленный вор-неудачник забивался в угол барака, а бывший министр, заместитель бригадира, произносил перед бригадой оглушительные речи о вреде краж, о священности тюремной пайки.

Все это жило перед моими глазами, и я, глядя на обедающих доходяг, вылизывающих миски классическим, ловким движением языка, и сам вылизывал миску столь же ловко – думал: скоро на столе будет появляться хлеб-приманка, хлеб-"живец". Уже есть наверное здесь и бывший министр и бывший журналист, делодаватели, провокаторы и лжесвидетели. Игра "на живую" была очень в ходу в спецзоне в мое время.

Чем-то это бессердечие напоминало блатарские романы с голодными проститутками (да и проститутками ли?), когда "гонораром" служит пайка хлеба, и по взаимному условию, – вернее, – из этой пайки сколько женщина успевала съесть – пока они лежали вместе. Все, что она не успевала съесть, блатарь отбирал и уносил с собой.

"Я паечку-то заморожу в снегу заранее, и сую ей в рот – много не угрызет мерзлую... Иду обратно – и паечка цела".

Это бессердечие блатарской любви – вне человека. Человек не может придумать себе таких развлечений, может только блатарь.

День за днем я двигался к смерти и ничего не ждал.

Все еще я старался выползти за ворота "зоны", выйти на работу. Только не отказ от работы. За три отказа – расстрел. Так было в тридцать восьмом году. А сейчас шел сорок пятый, осень сорок пятого года. Законы были прежние, особенно для "спецзон".

Меня еще не бросали надзиратели с горы вниз. Дождавшись взмаха руки конвоира, я бросался к краю ледяной горы и скатывался вниз, тормозясь за ветки, за выступы скал, за льдины. Я успевал встать в ряды и шагать под проклятия всей бригады, потому что шагал я плохо; впрочем, немного хуже, немного тише всех. Но именно эта незначительная разница силы делала меня предметом общей злобы, общей ненависти. Товарищи, кажется, ненавидели меня больше, чем конвой.

Шаркая бурками по снегу, я передвигался к месту работы – а лошадь тащила мимо нас на волокуше очередную жертву голода, побоев. Мы уступали лошади дорогу и сами ползли туда же – к началу рабочего дня. О конце рабочего дня никто не думал. Конец работы приходил сам собой, и как-то не было важно – придет этот новый вечер, новая ночь, новый день – или нет.

Работа была тяжелей день ото дня, и я чувствовал, что нужны какие-то особые меры.

Гусева. Гусева! Гусев поможет.

Гусев был мой напарник со вчерашнего дня на уборке какого-то нового барака – мусор сжечь, остальное в землю, в подпол, в вечную мерзлоту.

Я знал Гусева. Мы встречались на прииске года два назад, и именно Гусев помог найти украденную у меня посылку, – указал, кого нужно бить, и того били всем бараком, и посылка нашлась. Я дал тогда Гусеву кусок сахару, горсть компоту – не все же я должен был отдать за находку, за донос. Гусеву я могу довериться.

Я нашел выход: сломать руку. Я бил коротким ломом по своей левой руке, но ничего, кроме синяков, не получалось. Не та сила у меня была, не та, чтоб сломать человеческую руку, не то внутри какой-то караульщик не давал размахнуться как следует. Пусть размахнется Гусев.

Гусев отказался.

– Я бы мог на тебя донести. По закону разоблачают членовредителей и ты ухватил бы три года добавки. Но я не стану. Я помню компот. Но браться за лом не проси, я этого не сделаю.

– Почему?

– Потому что ты, когда тебя станут бить у опера, скажешь, что это сделал я.

– Я не скажу.

– Кончен разговор.

Надо было искать какую-то работу еще легче легкого, и я попросил доктора Ямпольского взять меня к себе на строительство больницы. Ямпольский ненавидел меня, но знал, что я работал санитаром раньше...

Работником я оказался неподходящим.

– Что же ты, – говорил Ямпольский, почесывая свою ассирийскую бородку, – не хочешь работать.

– Я не могу.

– Ты говоришь "не могу" мне – врачу.

Вы ведь не врач, хотел я сказать, ибо я знал, кто такой Ямпольский. Но "не веришь – прими за сказку". Каждый в лагере – арестант или вольный, все равно – работяга или начальник – тот, за кого он себя выдает... С этим считаются и формально, и по существу.

Конечно, доктор Ямпольский – начальник санчасти, а я – работяга, штрафник, спецзонник.

– Я теперь понял тебя, – говорил злобно доктор. – Я тебя выучу жить. – Я молчал. Сколько людей в моей жизни меня учило жить.

– Завтра я тебе покажу. Завтра ты у меня узнаешь...

Но завтра не наступило.

Ночью, вырвавшись вверх по ручью, до нашего города на горе добрались две машины, два грузовика. Рыча и газуя приползли к воротам зоны и стали сгружаться. В грузовиках были люди, одетые в иностранную красивую форму.

Это были репатрианты. Из Италии, трудовые части из Италии. Власовцы? Нет. Впрочем, "власовцы" звучало для нас, старых колымчан, оторванных от мира, слишком неясно, а для новеньких – слишком близко и живо. Защитный рефлекс говорил им: молчи! А нам колымская этика не позволяла расспрашивать.

В спецзоне, на прииске "Джелгала", давно уже поговаривали, что сюда привезут репатриантов. Без срока. Приговора.

Их везут где-то сзади, после. Но люди были живые, живее колымских доходяг.

Для репатриантов это был конец пути, начавшийся в Италии, в митингах. Родина вас зовет, Родина прощает. С русской границы к вагонам был поставлен конвой. Репатрианты прибыли прямо на Колыму, чтобы разлучить меня с доктором Ямпольским, спасти меня от спецзоны.

Ничего, кроме шелкового белья и новенькой военной формы заграничной, у репатриантов не осталось. Золотые часы и костюмы, рубашки репатрианты променяли по дороге на хлеб – и это было у меня, – дорога была длинная и я хорошо эту дорогу знал. От Москвы до Владивостока этап везут сорок пять суток. Потом пароход Владивосток–Магадан – пять суток, потом бесконечные сутки транзиток, и вот конец пути – Джелгала.

На машинах, которые привезли репатриантов, отправили в управление – в неизвестность – пятьдесят человек спецзаключенных. Меня не было в этих списках, но в них попал доктор Ямпольский, и с ним больше в жизни мы не встречались.

Увезли старосту, и я в последний раз на его шее увидел шарф, доставивший мне столько мучений и забот. Вши были, конечно, выпарены, уничтожены.

– Значит репатриантов будут зимой раскачивать надзиратели и швырять вниз, а там привязывать к волокуше и волочить в забой на работу. Как кидали нас...

Было начало сентября, начиналась зима колымская...

У репатриантов сделали обыск и привели в трепет всех. Опытные лагерные надзиратели извлекли на свет то, что прошло через десятки обысков на "воле", начиная с Италии – небольшую бумагу, документ, Манифест Власова! Но это известие не произвело ни малейшего впечатления. О Власове, о его "РОА" мы ничего не слыхали, а тут вдруг манифест.

– А что им за это будет? – спросил кто-то из сушивших возле печки хлеб.

– Да ничего не будет.

Сколько из них было офицеров – я не знаю. Офицеров-власовцев расстреливали; возможно, тут были только рядовые, если помнить о некоторых свойствах русской психологии, натуры.

Года через два после этих событий мне случилось работать фельдшером в японской зоне. Там на любую должность – дневальный, бригадир, санитар – обязательно принимался офицер, и это считалось само собой понятным, хотя пленные офицеры-японцы в больничной зоне формы не носили.

У нас же репатрианты разоблачали, вскрывали по давно известным образцам.

– Вы работаете в санчасти?

– Да, в санчасти.

– Санитаром назначили Малиновского – позвольте вам доложить, что Малиновский сотрудничал с немцами, работал в канцелярии, в Болонье. Я лично видел.

– Это не мое дело.

– А чье же? К кому же мне обратиться?

– Не знаю.

– Странно. А шелковая рубашка нужна кому-нибудь?

– Не знаю.

Подошел радостный дневальный, он уезжал, уезжал, уезжал из спецзоны.

– Что, попался, голубчик? В итальянских мундирах в вечную мерзлоту. Так вам и надо. Не служите у немцев!

И тогда новенький сказал тихо: – Мы хоть Италию видели! А вы?

И дневальный помрачнел, замолчал.

Колыма не испугала репатриантов.

– Нам тут все в общем нравится. Жить можно. Не пойму только, почему ваши в столовой никогда не едят

хлеба – эту двухсотку или трехсотку – кто как наработал. Ведь тут проценты?

– Да, тут проценты.

Ест суп и кашу без хлеба, а хлеб почему-то уносит в барак.

Репатриант коснулся случайно самого главного вопроса колымского быта.

Но мне не захотелось отвечать.

– Пройдет две недели, и каждый из вас будет делать то же самое.

###

ШАХМАТЫ ДОКТОРА КУЗЬМЕНКО

Доктор Кузьменко высыпал шахматы на стол.

– Прелесть какая, – сказал я, расставляя фигурки на фанерной доске. Это были шахматы тончайшей ювелирной работы, игра на тему – смутное время в России. Польские жолнеры, казаки окружали высокую фигуру Первого Самозванца, короля белых. У белого ферзя были резкие, энергичные черты Марины Мнишек. Гетманы Сапега и Радзивилл стояли на доске, как офицеры Самозванца, как в своей польской партии. Партия черных была в монашеской одежде, митрополит Филарет возглавлял ее. Пересвет и Ослябя в латах, поверх феерических ряс, держали короткие обнаженные мечи. Башни Троице-Сергиева стояли на полях А-8 и Н-8.

– Прелесть и есть, не нагляжусь, только, – сказал я, – историческая неточность. Первый Самозванец не осаждал Лавры.

– Да, да, – сказал доктор, – вы правы. А не казалось вам странным, что до сих пор история не знает, кто такой был Первый Самозванец.

– Гришка Отрепьев.

– Это лишь одна из многих гипотез, причем не очень вероятная. Пушкинская, правда. Борис Годунов тоже был не таким, как у Пушкина. Вот у поэта, драматурга, романиста, композитора, скульптора... Им принадлежит толкование событиям. Это девятнадцатый век с его жаждой объяснения необъяснимого. В половине двадцатого века документ вытеснил бы все. И верили бы только документу.

– Есть письмо Самозванца.

– Да, царевич Дмитрий показал, что он был культурный человек, грамотный государь, достойный лучших царей на русском престоле. Все же, кто он? Никто не знает, кто был русский государь, – вот что такое польская тайна, – и сила историков – стыдная вещь! Если б дело было в Германии, где-нибудь нашлись бы документы. Немцы любят документы. А высокие хозяева Самозванца хорошо знали, как хранится тайна. Сколько людей убито из тех, кто прикоснулся к этой тайне!

– Вы преувеличиваете, доктор Кузьменко, отрицая наши способности хранить тайну.

– Ничуть не отрицаю. Разве смерть Осипа Мандельштама – не тайна? Где и когда он умер? Есть сто свидетелей его смерти, от побоев, от голода и холода. В обстоятельствах смерти расхождений нет, и каждый из ста сочиняет свой рассказ, свою легенду. А смерть сына Германа Лопатина, убитого только за то, что он сын Германа Лопатина. Его следы ищут 30 лет. Родственникам бывших партийных вождей, вроде Бухарина, Рыкова, выдали справки о смерти. Справки эти растянуты на многие годы, от тридцать седьмого до сорок пятого, но никто и нигде не встречался с этими людьми после тридцать седьмого или тридцать восьмого года. Все эти справки для утешения родственников, сроки смерти произвольные. Вернее будет предположить, что все они расстреляны не позже тридцать восьмого года в подвалах Москвы.

– Мне кажется...

– А вы помните Кулагина?

– Скульптора?

– Да. Он исчез бесследно, когда многие исчезали. Он исчез под чужой фамилией, смененной в лагере на номер, а номер был вновь сменен на третью фамилию.

– Слыхал я о таких штуках, – сказал я.

– Вот эти шахматы – его работы. Кулагин сделал их в Бутырской тюрьме из хлеба в тридцать седьмом году. Все арестанты, сидевшие в кулагинской камере, жевали часами хлеб. Тут важно было уловить момент, когда слюна и разжеванный хлеб вступят в какое-то уникальное соединение. Об этом судил сам мастер идеи. Удача – вынуть изо рта тесто, готовое принять любую форму под пальцами Кулагина и затвердеть навеки, как цемент египетских пирамид. Две игры Кулагин так сделал. Вторая – завоевание Мексики Кортесом, мексиканское смутное время. Испанцев и мексиканцев Кулагин продал или отдал за так кому-то из тюремного начальства, а русское смутное время увез с собой в этап. Сделано спичкой, ногтем ли – всякая железка запрещена в тюрьме.

– Тут не хватает двух фигур, – сказал я, – черного ферзя и белой ладьи.

– Я знаю, – сказал Кузьменко, – ладьи нет вовсе, а черный ферзь, у него нет головы, заперт в моем письменном столе. Так я до сих пор и не знаю, кто из черных защитников Лавры смутного времени был ферзем.

Алиментарная дистрофия – страшная штука. Только после ленинградской блокады эту болезнь в наших лагерях назвали ее настоящим именем. А то ставили диагноз полиавитаминоз, пеллагра, исхудание на почве дизентерии и так далее. Тоже погоня за пальмой, хоть и на арестантской смерти. Врачам было запрещено говорить и писать о голоде. В официальных документах, в историях болезни, на конференциях, на курсах повышения квалификации...

– Я знаю.

– Кулагин был высоким грузным человеком. Когда его привезли в больницу, он весил сорок килограммов – вес костей и кожи, – необратимая фаза алиментарной дистрофии. У всех голодающих в какой-то тяжелый час наступает помрачение сознания, логический сдвиг, деменция, одно из

дэ знаменитой колымской триады: деменция, диарея, дистрофия. Вы знаете, что такое деменция?

Безумие, да-да, – безумие, приобретенное безумие, приобретенное слабоумие.

Когда Кулагина привезли, я – врач – сразу понял, что признаки деменции мой больной обнаружил давно. Кулагин не пришел в себя до смерти. С ним был мешочек с шахматами, который выдержал все дезинфекции и блатарскую жадность. Кулагин съел, иссосал, проглотил белую ладью, откусил, отломил, проглотил голову черного ферзя. И только вначале, когда санитары попытались взять у Кулагина мешочек из рук, мне кажется, он хотел проглотить свою работу, просто чтоб уничтожить, стереть свой след с земли. На несколько месяцев раньше надо было начинать глотать шахматные фигурки – они спасли бы Кулагина. Но нужно ли было ему спасение? Я не велел доставать ладью из желудка, во время вскрытия это можно было сделать, и голову ферзя тоже. Поэтому эта игра, эта партия без двух фигур. Ваш ход, маэстро!

– Нет, – сказал я, – мне что-то расхотелось.

###

ЧУЖОЙ ХЛЕБ

Это был чужой хлеб, хлеб моего товарища. Товарищ верил только мне, он ушел работать в дневную смену, а хлеб остался у меня в маленьком русском деревянном баульчике. Сейчас таких баульчиков не делают, а в двадцатых годах московские красотки щеголяли ими – такими спортивными чемоданчиками "крокодиловой" кожи из дерматина. В баульчике был хлеб, пайка хлеба. Если встряхнуть коробку рукой, хлеб перевалится внутри коробки. Баул лежал у меня под головой. Я долго не спал. Голодный человек плохо спит. Но я не спал именно потому, что в головах у меня был хлеб, чужой хлеб, хлеб моего товарища. Я сел на койке... Мне казалось, что все смотрят на меня, что все знают, что я собираюсь сделать. Но дневальный у окна ставил заплату на что-то. Другой человек, чьей фамилии я не знаю, тоже, как и я, работал в ночной смене и лежал сейчас на чужом месте в середине барака, ногами к теплой железной печке. Ко мне это тепло не доходило. Человек этот лежал на спине, вверх лицом. Я подошел к нему – глаза его были закрыты. Я взглянул на верхние нары – там в углу барака кто-то спал или лежал, укрывшись ворохом тряпья. Я снова лег на свое место, решившись твердо заснуть. Я досчитал до тысячи и снова встал. Я открыл баул и вынул хлеб. Это была пайка "трехсотка", холодная, как кусок дерева. Я поднес ее к носу, и ноздри тайно уловили чуть заметный запах хлеба. Я положил кусок обратно в баул и снова его вынул. Я перевернул коробку и высыпал на

ладонь несколько хлебных крошек. Я слизнул их языком, сейчас же рот наполнился слюной и крошки растаяли. Я больше не колебался. Я отщипнул три кусочка хлеба маленьких, с ноготь мизинца, положил хлеб в баул и лег. Я отщипывал и сосал крошки хлеба. И я заснул, гордый тем, что я не украл хлеба товарища.

# # #

ЭКЗАМЕН

Я выжил, вышел из Колымского ада только потому, что я стал медиком, кончил фельдшерские курсы в лагере, сдал государственный экзамен. Но еще раньше, десять месяцев раньше, был другой экзамен – приемный, более важный, смысла особого – и для меня и для моей страны. Испытание на разрыв было выдержано. Миска лагерных щей была чем-то вроде амброзии, что ли: в средней школе я не получил сведений о пище богов. По тем же самым причинам, по каким я не знал химической формулы гипса.

Мир, где живут боги и люди, – это единый мир. Есть события одинаково грозные и для людей и для богов. Формулы Гомера очень верны. Но в гомеровские времена не было уголовного подземного мира, мира концлагерей. Подземелье Плутона кажется раем, небом по сравнению с этим миром. Но и этот наш мир – только этажом ниже Плутона; люди поднимаются и оттуда на небеса и боги иногда спускаются, сходят по лестнице – ниже ада.

На эти курсы государство велело принимать "бытовиков", а из пятьдесят восьмой статьи только десятый пункт "агитация" – и никаких других пунктов.

У меня была как раз пятьдесят восьмая пункт десять – я был осужден в войну за заявление, что Бунин – русский классик. Но ведь я был осужден дважды и трижды по статьям, непригодным для полноценного курсанта. Но попробовать стоило: в лагерном учете после акций тридцать

седьмого года, да и войны, была такая неразбериха, что поставить жизнь на ставку стоило.

Судьба – бюрократка, формалистка. Замечаю, что занесенный над головой осужденного меч палача так же трудно остановить, как и руку тюремщика, отмыкающего дверь на свободу. Везенье, рулетка, Монте-Карло, поэтизированный Достоевским символ слепого случая вдруг оказались научно познаваемой схемой – предметом большой науки. Страстная воля постичь "систему" в казино сделала ее научной, доступной изучению.

Вера в счастье, в удачу – в предел этой удачи доступна ли человеческому пониманию? И чутье, слепая животная воля к выбору, – не основано ли на большем, чем случайность? Пока везет – надо на все соглашаться, – говорил мне лагерный повар. В везенье ли дело? Несчастье неостановимо. Но и счастье неостановимо. Вернее – то, что арестанты называют счастьем, арестантской удачей.

Довериться судьбе при счастливом попутном ветре и повторить в миллионный раз плаванье Кон-Тики по человеческим морям?

Или другое – вклиниться в щель клетки – нет клеток без щели! – и выскользнуть назад, в темноту. Или втиснуться в ящик, который везут к морю и где тебе нет места, но пока это разберут, бюрократическая формальность тебя спасет.

Все это – тысячная часть мыслей, которые могли бы, но вовсе не приходили мне тогда в голову.

Приговор был оглушителен. Мой живой вес был уже доведен до нужных для смерти кондиций. Следствие в слепом карцере без окон и света под землей. Месяц на кружке воды и трехсотке черного хлеба.

Впрочем, я сидел в карцерах и покрепче. Дорожная командировка на Кадыкчане расположена на месте штрафзоны. Штрафзоны, спецзоны, колымские освенцимы и

колымские золотые прииски меняют места, находятся в вечном грозном движении, оставляя после себя братские могилы и карцеры. На дорожной командировке Кадыкчан карцер был вырублен в скале, в вечной мерзлоте. Достаточно было там переночевать – и умереть, простыть до смерти. Восемь килограммов дров не спасут в таком карцере. Карцером этим пользовались дорожники. У дорожников было свое управление, свои законы бесконвойные – своя практика. После дорожников карцер перешел в лагерь Арказал, и начальник Кадыкчанского участка, инженер Киселев, тоже получил право сажать "до утра". Первый опыт был неудачен: два человека, два воспаления легких, две смерти.

Третьим был я. "Раздеть, в белье и в карцер до утра". Но я был опытнее тех. Печка, которую странно было топить, ибо ледяные стены таяли и потом опять замерзали, лед над головой, под ногами. Пол из накатника давно был сожжен. Я прошагал всю ночь, спрятав в бушлат голову, и отделался отморожением двух пальцев на ногах.

. . . . . .

Побелевшая кожа, обожженная июньским солнцем до коричневого цвета в два-три часа. Меня судили в июне – крошечная комната в поселке Ягодном, где все сидели притиснутые друг к другу – трибунальщики и конвоиры, обвиняемый и свидетели – где было трудно понять, кто подсудимый и кто судья.

Оказалось, что вместо смерти приговор принес жизнь. Преступление мое каралось по статье более легкой, чем та, с которой я приехал на Колыму.

Кости мои ныли, раны-язвы не хотели затягиваться. А самое главное, я не знал, смогу ли я учиться. Может быть рубцы в моем мозгу, нанесенные голодом, холодом, побоями и толчками, – навечны и я до конца жизни обречен лишь рычать как зверь над лагерной миской – и думать только

о лагерном. Но рискнуть стоило – столько-то клеток мозга сохранилось в моем мозгу, чтобы принять это решение. Звериное решение звериного прыжка, чтобы выбраться в царство человека.

А если меня изобьют и выбросят с порога курсов – вновь в забой, к ненавистной лопате, к кайлу – ну что ж! Я просто останусь зверем – вот и все.

Все это было моим секретом, моей тайной, которую так просто было хранить – достаточно о ней не думать. Я так и делал.

Машина давно съехала с укатанной центральной трассы, дороги смерти, и подпрыгивала на ухабах, ухабах, ухабах, била меня о борта. Куда везла меня машина? Мне было все равно куда – не будет хуже того, что было за моей спиной в эти десять лет моих лагерных скитаний от забоя до больницы. Колесо лагерной машины влекло меня к жизни, и жадно хотелось верить, что колесо не остановится никогда.

Да, меня принимают в лагерное отделение, вводят в "зону". Дежурный вскрыл пакет и не закричал мне – отойди в сторону! Подожди. Баня, где я бросаю белье – подарок врача – у меня ведь не всегда не было белья в моих приисковых скитаниях. Подарок на дорогу. Новое белье. Здесь в больничном лагере другие порядки – здесь белье "обезличено" по старинной лагерной моде. Вместо крепкого бязевого белья мне дают какие-то заплатанные обрывки. Это все равно. Пусть обрывки. Пусть обезличенное белье. Но я радуюсь белью не особенно долго. Если "да", то я еще успею отмыться в следующих банях, а если "нет", то и отмываться не стоит. Нас приводят в бараки, двухнарные бараки вагонной системы. Значит да, да, да... Но все еще впереди. Все тонет в море слухов. Пятьдесят восемь шесть – не принимают.

После этого объявления, одного из нас, Лунева, увозят, и он исчезает из моей жизни навсегда.

Пятьдесят восемь один – а! – Не принимают. КРТД – ни в коем случае! Ни в коем случае. Это хуже всякой измены родине.

А КРА? "КРА" – это все равно, что пятьдесят восемь пункт десять. КРА принимают.

А "АСА"? У кого "АСА"? – У меня, сказал человек с бледным и грязным тюремным лицом – тот, с которым мы тряслись вместе в одной машине.

АСА – это все равно, что КРА. А КРД? КРД – это, конечно, не КРТД, но и не КРА. На курсы КРД не принимают.

Лучше всего чистая пятьдесят восьмая пункт десять без всяких там литерных замен.

Пятьдесят восемь – пункт 7 – вредительство. Не принимают. Пятьдесят восемь – восемь. Террор. Не принимают.

У меня – пятьдесят восемь. Десятый пункт. Я остаюсь в бараке.

Приемная комиссия фельдшерских курсов при Центральной лагерной больнице допустила меня к испытаниям. Испытания? Да, экзамены. Приемный экзамен. А что вы думали. Курсы – серьезное учреждение, выдающее документы. Курсы должны знать, с кем имеют дело.

Но не пугайтесь. По каждому предмету – русский язык письменный, математика – письменная и химия – устный экзамен. Три предмета – три зачета. Со всеми будущими курсантами – больничные врачи, преподаватели курсов, проведут беседы до экзамена. Диктант. Девять лет не разгибалась моя кисть, согнутая навечно по мерке лопаты – и разгибающаяся только с хрустом, только в бане, распаренная в теплой воде.

Я разогнул пальцы левой ладонью, вставил ручку, обмакнул перо в чернильницу-непроливайку и дрожащей рукой, холодея от пота, написал этот проклятый диктант. Боже мой!

В двадцать шестом году – двадцать лет назад последний раз держал я экзамен по русскому языку, поступая

в Московский университет. На "вольной теме" я "выдал" двести процентов – был освобожден от устных испытаний. Здесь не было устных испытаний. Тем более! Тем более – внимание! Тургенев или Бабаевский? Это мне было решительно все равно. Нетрудный текст... Проверил запятые, точки. После слова "мастодонт" точка с запятой. Очевидно, Тургенев. У Бабаевского не может быть никаких мастодонтов. Да и точек с запятой.

"Я хотел дать текст Достоевского или Толстого, да испугался, что обвинят в контрреволюционной пропаганде", – рассказывал после мне экзаменатор, фельдшер Борский. Проводить испытания по русскому языку отказались дружно все профессора, все преподаватели, не надеясь на свои знания. Назавтра ответ. Пятерка. Единственная пятерка, итоги диктанта – плачевны.

Собеседования по математике испугали меня. Задачки, которые надо было решить, решались, как озарение, наитие, вызывая страшную головную боль. И все же решались.

Эти предварительные собеседования, испугав меня сначала, успокоили. И я жадно ждал последнего экзамена, вернее последней беседы – по химии. Я не знал химии, но думал, что товарищи расскажут. Но никто не занимался друг с другом, каждый вспоминал свое. Помогать другим в лагере не принято, и я не обижался, а просто ждал судьбы, рассчитывая на беседу с преподавателем. Химию на курсах читал академик Украинской академии наук Бойченко – срок двадцать пять и пять – Бойченко принимал и экзамены.

В конце дня, когда было объявлено об экзаменах по химии, нам сказали, что никаких предварительных бесед Бойченко вести не будет. Не считает нужным. Разберется на экзамене.

Для меня это было катастрофой. Я никогда не учил химию. В средней школе в гражданскую войну наш преподаватель химии Соколов был расстрелян. Я долго лежал

в эту зимнюю ночь в курсантском бараке, вспоминая Вологду гражданской войны. Сверху меня лежал Суворов – приехавший на экзамен из такого же дальнего горного управления, как и я, и страдавший недержанием мочи. Мне было лень ругаться. Я боялся, что он предложит переменяться местами – и тогда он жаловался бы на своего верхнего соседа. Я просто отвернул лицо от этих зловонных капель.

Я родился и провел детство в Вологде. Этот северный город – необыкновенный город. Здесь в течение столетий отслаивалась царская ссылка – протестанты, бунтари, критики разные – в течение многих поколений создали здесь особый нравственный климат – выше уровнем любого города России. Здесь моральные требования, культурные требования были гораздо выше. Молодежь здесь раньше рвалась к живым примерам, жертвенности, самоотдаче.

И всегда я с удивлением думал о том, что Вологда – единственный город в России, где не было никогда ни одного мятежа против советской власти. Такие мятежи потрясли весь Север: Мурманск, Архангельск, Ярославль, Котлас. Северные окраины горели мятежами – вплоть до Чукотки, до Олы, не говоря уж о юге, где каждый город испытывал не однажды смену властей.

И только Вологда, снежная Вологда, ссыльная Вологда – молчала. Я знал, почему... Этому было объяснение.

В 1918 году в Вологду приехал начальник Северного фронта М.С. Кедров. Первым его распоряжением по укреплению фронта был расстрел заложников. Двести человек было расстреляно в Вологде, городе, где население шестнадцать тысяч человек. Котлас, Архангельск – все счет особый.

Кедров был тот самый Шигалев, предсказанный Достоевским.

Акция была настолько необычной даже по тем кровавым временам, что от Кедрова потребовали объяснений в Москве. Кедров не моргнул глазом. Он выложил на стол

ни много, ни мало, как личную записку Ленина. Она была опубликована в Военном историческом журнале в начале шестидесятых годов, а может быть чуть раньше. Вот ее приблизительный текст: "Дорогой Михаил Степанович. Вы назначаетесь на важный для республики пост. Прошу вас не проявить слабости. Ленин".

Впоследствии ряд лет в ВЧК-МВД работал Кедров, все время кого-то разоблачая, донося, следя, проверяя, уничтожая врагов революции. В Ежове Кедров видел наиболее ленинского наркома – сталинского наркома. Но Берия, сменивший Ежова, не понравился Кедрову. Кедров организовал слежку за Берия. Результаты наблюдения Кедров решил вручить Сталину. К тому времени подрос сын Кедрова – Игорь, работавший, как и отец, в МВД. Сговаривались так, что сын подает рапорт по начальству – и если его арестуют – отец сообщит Сталину, что Берия – враг. Пути этой связи у Кедрова были очень надежные.

Сын подал рапорт по службе, был арестован и расстрелян. Отец написал письмо Сталину, был арестован и подвергнут допросу, который вел лично Берия. Берия сломал Кедрову позвоночник железной палкой.

Сталин просто показал Берии письмо Кедрова.

Кедров написал второе письмо Сталину о своей сломанной спине, о допросах, которые вел Берия.

После этого Берия застрелил Кедрова в камере. И это письмо Сталин показал Берии. Вместе с первым оно было найдено в личном сейфе Сталина после его смерти.

Об обоих письмах, их содержании и обстоятельствах этой переписки "на высшем уровне" рассказал Хрущев на XX съезде совершенно открыто. Все это повторил биограф Кедрова в своей книге о нем.

Вспоминал ли Кедров перед смертью вологодских заложников, расстрелянных им, не знаю.

Наш преподаватель химии Соколов был расстрелян среди этих заложников. Вот почему я никогда не учил химии. Не знал науки господина Бойченко, который не нашел времени для консультации.

Значит, ехать назад, в забой, и так и не быть человеком. Постепенно во мне копилась, стучала в висках старая моя злоба, и я уже ничего не боялся. Должно было что-то случиться. Полоса удач так же неотвратима, как полоса бед – это знает каждый игрок в карты, в торц, в рамс, в очко... – Ставка была очень велика.

Попросить у товарищей учебник? Учебников не было. Попросить рассказать хоть о чем-нибудь химическом? Но разве я имею право отнимать время у моих товарищей? Ругательство – единственный ответ, который я могу получить.

Осталось собраться, сжаться – и ждать.

Как много раз события высшего порядка повелительно, властно входили в мою жизнь, диктуя, спасая, отталкивая, нанося раны, незаслуженные, неожиданные... Важный мотив моей жизни был связан с этим экзаменом, с этим расстрелом четверть века назад.

Я экзаменовался одним из первых. Улыбающийся Бойченко, в высшей степени расположенный ко мне. В самом деле – перед ним хоть и не академик Украинской академии наук, не доктор химических наук, но грамотный как будто человек, журналист, две пятерки. Правда одет бедновато, да и исхудал филон, наверно симулянт. Бойченко еще не ездил дальше 23 километра от Магадана, от уровня моря. Это была его первая зима на Колыме. Каков бы лодырь ни стоял перед ним, надо ему помочь.

Книга протоколов – вопросы, ответы – лежала перед Бойченко.

– Ну, с вами, надеюсь, мы не задержимся. Напишите формулу гипса.

– Не знаю.

Бойченко остолбенел. Перед ним был наглец, который не хотел учиться.

– А формулу извести?

– Тоже не знаю.

Мы оба пришли в бешенство. Первым сдержался Бойченко. Под этим ответом крылись какие-то тайны, которые Бойченко не хотел, или не умел понимать, но возможно, что к этим тайнам надо отнестись с уважением. Притом его предупреждали. Вот весьма подходящий курсант. Не придирайтесь.

– Я должен по закону задать тебе, – Бойченко уже перешел на ты, – три вопроса под запись. Два я уже задал. Теперь третий: "Периодическая система элементов Менделеева".

Я помолчал, вызывая в мозг, в гортань, на язык и губы все, что мог знать о периодической системе элементов. Конечно, я знал, что Блок женат на дочери Менделеева, мог бы рассказать все подробности этого странного романа. Но ведь не это нужно доктору химических наук. Кое-как я пробормотал что-то очень далекое от периодической системы элементов под презрительным взглядом экзаменатора.

Бойченко поставил мне тройку, и я выжил, я вышел из ада.

Я кончил курсы, кончил срок, дождался смерти Сталина и вернулся в Москву.

Мы не познакомились и не разговорились с Бойченко. За время ученья на курсах Бойченко ненавидел меня и считал, что мои ответы на экзамене – личное оскорбление деятеля науки.

Бойченко никогда не узнал о судьбе моего учителя химии, расстрелянного вологодского заложника.

А потом было восемь месяцев счастья, непрерывного счастья, жадного поглощения, всасывания знаний, ученья, где зачетным баллом для каждого курсанта была жизнь, и знавшие это преподаватели – все кроме Бойченко –

отдавали пестрой неблагодарной арестантской толпе все свои знания, все уменье, полученное на работах по рангу не ниже бойченковского.

Экзамен на жизнь был выдержан, государственный экзамен сдан. Все мы получили право лечить, жить, надеяться. Я был послан фельдшером в хирургическое отделение большой лагерной больницы, лечил, работал, жил, превращался – очень медленно – в человека.

Прошло около года.

Неожиданно я был вызван к начальнику больницы доктору Доктору. Это был бывший политотделец, посвятивший всю свою колымскую жизнь вынюхиванию, разоблачению, бдительности, розыску, доносам, преследованиям заключенных, осужденных по политическим статьям.

– Заключенный фельдшер такой-то явился по вашему вызову...

Доктор Доктор был белокур, рыжеват – и носил пушкинские бакенбарды. Он сидел у стола и перелистывал мое личное дело.

– А скажи-ка мне, как ты попал на эти курсы?

– Как арестант попадает на курсы, гражданин начальник? Его вызывают, берут его личное дело, дают личное дело конвоиру, сажают в машину, везут в Магадан. Как же еще, гражданин начальник?

– Иди отсюда, – сказал доктор Доктор, белея от бешенства.

# # #

ВОДОПАД

В июле, когда температура днем достигает сорока по Цельсию – тепловое равновесие континентальной Колымы, повинуясь тяжелой силе внезапных дождей, на лесных полянках поднимаются, пугая людей, неестественно огромные маслята со скользкими змеиными шкурами, пестрыми змеиными шкурами – красные, синие, желтые... Внезапные эти дожди приносят тайге, лесу, камню, мхам, лишайнику – только минутное облегчение. Природа и не рассчитывала на этот плодоносящий, животворный, благодетельный дождь. Дождь раскрывает все скрытые силы природы – и шляпки маслят тяжелеют, растут – по полметра в диаметре. Это пугающие, чудовищные грибы. Дождь приносит лишь минутное облегчение – в глубоких ущельях лежит зимний, навечный лед. Грибы, их молодая грибная сила вовсе не для льда. И никакие дожди, никакие потоки воды не страшны этим гладким алюминиевым льдинам. Лед прикрывает собой камень русла, становится похожим на цемент взлетной дорожки аэродрома... И по руслу, по этой взлетной дорожке, убыстряя свое движение, свой бег, летит вода, соединившаяся с растаявшим снегом, снег превратившая в воду и позвавшая в небо, в полет...

Бурная вода сбегает, слетает с горных вершин по ущельям, добирается до русла реки, где поединок солнца и льда уже закончен, лед растаял. В ручье лед еще не растаял. Но трехметровый лед ручью не помеха. Вода бежит прямо к реке по этой мерзлой взлетной дорожке. Ручей в синем небе

кажется алюминиевым, непрозрачным, но светлым и легким алюминием. Ручей разбегается по гладкому блестящему льду. Разбегается и прыгает в воздух. Ручей давно, еще в начале бега, в вершинах скал считает себя самолетом, и взвиться над рекой – единственное желание ручья.

Разбежавшийся сигарообразный, алюминиевый ручей взлетает в воздух, прыгает с обрыва в воздух. Ты – холоп Никитка, придумавший крылья, придумавший птичьи крылья. Ты – Татлин-"Летатлин", доверивший дереву секреты птичьего крыла. Ты – Лилиенталь.

Разбежавшийся ручей прыгает и не может не прыгать – набегающие волны теснят тех, кто ближе к обрыву.

Прыгает в воздух и разбивается о воздух. У воздуха оказывается каменная сила, каменное сопротивление – только на первый взгляд издали воздух кажется "средой" из учебников, свободной средой, где можно дышать, двигаться, жить, летать.

Ясно видно, как хрустальная струя воды ударяется о голубую воздушную стену, прочную стену, воздушную стену. Ударяется и разбивается вдребезги – в брызги, в капли, бессильно падая с десятиметровой высоты в ущелье.

Оказывается, что гигантской воды, скопленной в ущельях, в разбеге, – силы, достаточной для того, чтобы сокрушить скалистые берега, выворачивать деревья с корнем и бросать их в поток, шатать и разламывать скалы, сметать все на своем пути в законе половодья, потока – этой силы мало, чтобы справиться с косностью воздуха, того самого воздуха, которым так легко дышать, воздуха, который прозрачен и уступчив, уступчив до невидимости и кажется символом всякой свободы. У этого воздуха, оказывается, есть такие косные силы, с которыми не сравнится никакая скала, никакая вода.

Брызги, капли мгновенно соединяются вновь, снова падают, снова разбиваются и с визгом, ревом добираются

до русла – огромных каменных валунов, шлифованных веками, тысячелетиями...

Ручей доползает до русла реки по тысяче дорожек между валунов, камней, камешков, которые капли, ручеечки, ниточки укрощенной воды боятся и пошевелить. Ручей, разбитый, укрощенный, тихо, беззвучно вползает в реку, очерчивая светлый полукруг в темной воде, бегущей мимо реки. Реке нет дела до этого ручья-"Летатлина", ручья-Лилиенталя. Реке некогда ждать. Впрочем, река чуть отступает, давая место светлой воде разбитого ручья, и видно, как поднимаются из глубины к светлому полукругу, заглядывая в ручей, горные хариусы. Хариусы стоят в темной реке близ светлого полукруга воды, на устье ручья. Рыбная ловля здесь неизменно хороша.

###

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

Мы суеверны. Мы требуем чуда. Мы придумываем себе символы и этими символами живем.

Человек на Дальнем Севере ищет выхода своей чувствительности, – не разрушенной, не отрезвленной десятилетиями жизни на Колыме. Человек посылает авиапочтой посылку: не книги, не фотографии, не стихи, а ветку лиственницы, мертвую ветку живой природы.

Этот странный подарок – иссушенную, продутую ветрами самолетов – мятую, изломанную в почтовом багаже, светло-коричневую, жесткую, костистую северную ветку северного дерева ставят в воду.

Ставят в консервную банку, налитую злой, хлорированной, обеззараженной московской водопроводной водой, водой, которая сама может и рада задушить все живое – московская мертвая водопроводная вода.

Лиственница – серьезней цветов. В этой комнате много цветов, ярких цветов. Здесь ставят букеты черемухи, букеты сирени в горячую воду – расщепляя ветки и окуная в кипяток.

Лиственница стоит в холодной воде, чуть согретой. Лиственница жила ближе к Черной речке, чем все эти цветы, все эти ветки – черемухи, сирени.

Это понимает хозяйка. Понимает это и лиственница.

Повинуясь страстной человеческой воле, ветка собирает все свои силы – физические и духовные, ибо нельзя ветке воскреснуть от только физических сил – московского

тепла, хлорированной воды, равнодушной стеклянной банки. В ветке разбужены иные, тайные силы.

Проходит три дня и три ночи, и хозяйка просыпается от странного, смутного, скипидарного запаха, слабого, тонкого, нового запаха. В жесткой деревянной коже открылись и выступили явственно на свет новые, молодые, ярко-зеленые иглы свежей хвои.

Лиственница жива, лиственница бессмертна, это чудо воскресения не может не быть – ведь лиственница поставлена в банку с водой – в годовщину смерти на Колыме мужа хозяйки – поэта.

Даже эта память о мертвом тоже участвует в оживлении, в воскрешении лиственницы.

Этот нежный запах, эта ослепительная зелень игл – важные начала жизни. Слабые, но живущие, воскрешенные какой-то тайной духовной силой – скрытые в лиственнице и показавшиеся на свет...

Запах лиственницы был слабым, но ясным, и никакая сила в мире не заглушила, не задушила бы этот запах, не потушила этот зеленый весенний свет и цвет.

Сколько лет – исковерканная ветрами, морозами, вертящаяся вслед за солнцем – лиственница каждую весну протягивала в небо молодую зеленую хвою.

Сколько лет? Сто. Двести. Шестьсот. Зрелость даурской лиственницы – триста лет.

Триста лет! Лиственница, чья ветка, веточка дышала на московском столе – ровесница Натальи Шереметевой-Долгорукой, и может напомнить о ее горестной судьбе – о превратностях жизни, о верности и твердости, о душевной стойкости, о муках физических, нравственных, ничем не отличающихся от мук тридцать седьмого года – с бешеной северной природой, ненавидящей человека – смертельной опасностью весеннего половодья и зимних метелей, с доносами, грубым произволом начальников – смертями,

четвертованием, колесованием мужа, брата, сына, отца, доносивших друг на друга, предававших друг друга.

Чем не извечный русский сюжет?

После риторики моралиста Толстого и бешеной проповеди Достоевского — были войны, революции, Хиросима и концлагеря, доносы, расстрелы.

Лиственница сместила масштабы времени, пристыдила человеческую память, напомнила незабываемое.

Лиственница, которая видела смерть Натальи Долгорукой и видела миллионы трупов — бессмертных в вечной мерзлоте Колымы, видевшая смерть русского поэта, — лиственница живет где-то на Севере, чтобы видеть, чтобы кричать, что ничего не изменилось в России — ни судьбы, ни человеческая злоба, ни равнодушие. Наталья Шереметева — все рассказала, все записала с грустной своей силой и верой. Лиственница, ветка от которой ожила на московском столе, уже жила, когда Шереметева ехала в свой скорбный путь в Березов, такой похожий на путь в Магадан, за Охотское море.

Лиственница источала — именно источала запах, как сок. Запах переходил в цвет, и не было меж ними границы.

Лиственница в московской квартире дышала, чтобы напоминать людям их человеческий долг, чтобы люди не забыли миллионы трупов — людей, погибших на Колыме.

Слабый настойчивый запах — это был голос мертвых.

От имени этих мертвых лиственница и осмеливается дышать, говорить и жить.

Для воскрешения нужна сила и вера. Сунуть ветку в воду — это далеко не все. Я тоже ставил ветку лиственницы в банку с водой — ветка засохла, стала безжизненной, хрупкой и ломкой — жизнь ушла из нее. Ветка ушла в небытие, исчезла, не воскресла. Но лиственница в квартире поэта ожила в банке воды.

Да, есть ветки сирени, черемухи, есть романсы сердцещипательные. Лиственница — не предмет, не тема для романсов.

Лиственница – дерево очень серьезное. Это – дерево познания добра и зла – не яблоня, не березка! – дерево, стоявшее в райском саду до изгнания Адама и Евы из рая.

Лиственница – дерево Колымы, дерево концлагерей.

На Колыме не поют птицы. Цветы Колымы – яркие, торопливые, грубые – не имеют запаха. Короткое лето – в холодном, безжизненном воздухе – сухая жара и стынущий холод ночью.

На Колыме пахнет только горный шиповник – рубиновые цветы. Не пахнет ни розовый, грубо вылепленный ландыш, ни огромные – с кулак,– фиалки, ни худосочный можжевельник, ни вечно-зеленый стланик.

И только лиственница напоминает леса смутным своим скипидарным запахом. Сначала кажется, что это запах тленья, запах мертвецов. Но приглядишься, вдохнешь этот запах поглубже, и поймешь, что это запах жизни, запах сопротивления северу, запах победы.

К тому же – мертвецы на Колыме не пахнут – они слишком истощены, обескровлены, да и хранятся в вечной мерзлоте.

Нет, лиственница – дерево, неприглядное для романсов, об этой ветке не споешь, не сложишь романса. Здесь слово другой глубины, иной пласт человеческих чувств.

Человек посылает авиапочтой ветку колымскую: хотел напомнить о себе. Не память о нем, а память о тех миллионах убитых, замученных заключенных, которые сложены в братские могилы к северу от Магадана.

Помочь другим запомнить, снять со своей души этот тяжелый груз: видеть такое, найти мужество не рассказать, не запомнить. Человек и его жена удочерили девочку – заключенную девочку от умершей в больнице матери – хоть в своем, личном смысле взять на себя какую-то обязанность, выполнить какой-то личный долг.

Помочь товарищам, – тем, кто остался в живых после концлагерей Дальнего Севера...

Послать эту жесткую, гибкую ветку в Москву.

Посылая ветку, человек не понимал, не знал, не думал, что ветку в Москве оживят, что она, воскрешенная, запахнет Колымой, зацветет на московской улице, что лиственница докажет свою силу, свое бессмертие.

Шестьсот лет жизни лиственницы – это практическое бессмертие человека.

Что люди Москвы будут трогать руками эту шершавую, неприхотливую жесткую ветку, будут глядеть на ее ослепительно зеленую хвою, – ее возрождение, воскресение – будут вдыхать ее запах – не как память о прошлом, но как живую жизнь.

СОДЕРЖАНИЕ

Вторая книга. Предисловие (М. Геллер) 7

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

Краткое жизнеописание Варлама Шаламова, составленное им самим 11

Четвертая Вологда. Автобиографическая повесть . . . 17

Рассказы о детстве :
- Ворисгофер 219
- Берданка 222
- Монах Иосиф Шмальц 226
- Белка 229

В лагере :
- У стремени 237
- Тамарин-Мирецкий 249
- Борис Южанин 262
- Вечерняя молитва 271
- Тропа 275
- Начальник политуправления 278
- Город на горе 283
- Шахматы доктора Кузьменко 296
- Чужой хлеб 300
- Экзамен 302
- Водопад 313
- Воскрешение лиственницы 316

Imprimerie de la Manutention à Mayenne – 2 octobre 1985 – N°9200